

Наймичка (1852—1853)

Шевченко Тарас Григорович

Между городом Кременчугом и городом Ромнами лежит большая транспортная, или чумацкая, дорога, называемая Ромодановым шляхом. Откуда она взяла такое название, это покрыто туманом неизвестности. Чумаки же рассказывают вот какую былицу.

Жил в городе Крюкове (что за Днепром, против Кременчуга), так в этом городе Крюкове жил богатый, неисчислимо богатый чумак Роман. Каждое божие лето отправлял он две валки, по крайней мере возов в 20 каждая, одну на Дон за рыбой, а другую в Крым за солью. К Первой Пречистой чумаки, его наймиты, возвращались в город Крюков. Часть добра сваливалась в его коморах, а с другою половиною добра он уже сам отправлялся в город Ромен, с своею валкою. А шел он вот какую дорогою: сначала на Хорол, так что ему Золотоноша оставалась вправо, а Веселый Подол влево, потом из Хорола на Миргород, из Миргорода на Лохвицу, а из Лохвицы уже в Ромен. Так посудите сами, какой он круг всегда давал. И для почтаря это чего-нибудь да стоит, а про чумака и говорить нечего. Вот он однажды, продавши нароздриб и частку гуртом свое добро в городе Ромнах, думал было возвращаться домой, да приостановился ненадолго около корчмы, около той самой корчмы, что и теперь стоит, уже за городом Ромнами, под вербами, на Лохвицкой и Зиньковской дороге и на Ромодановом шляху.

А тут уже, под вербами около корчмы, стояло десяток-другой чумацких возов распряженных, а кой-где под возами сидят себе люди добрые да горилку кружат. Вот он остановился с своею худобою, снял шапку, помолился Богу и, обратившись к чумакам, сказал:

— Благословите, панове молодци, волы попасать. — Чумаки ему отвечали так: «Боже благословы, вельке поле!» — и принялись за свое дело. А он, оставя волы в ярмах, пошел в корчму, говоря:

— Я только четвертку выпью.

Заходит в корчму, а там шинкарочка точно на картине намалевана, будто шляхтянка какая. Чумак Роман был уже хотя и немолодой чумак, одначе в нем сердце заиграло, глядя на такую кралю. Краля это смекнула да, усмехнувшись, и спрашивает его: «А чего вам хорошего надобится, господа чумаче?»

Она таки умела и по-московски слово закинуть.

— А вот чего мне надо, моя добродейко: кварту горилки, да дви кварталы меду, да сама сядь коло мене.

— Добре, — сказала шинкарочка и, наливши ему кварту водки, пошла в лех с поставцем и принесла меду.

Сидит чумак Роман в конце стола, закутивши свою чумацкую люльку, а около его сидит молодая шинкарочка да смотрит на его седые усы своими голубиными глазками. Пьет чумак Роман, кружит он серебряною чарою горилку горькую, а шинкарочка молодая золотым кубком мед сладкий. Долго они вдвоем себе сидели, пили, разные песни пели. На дворе уже стемнело,

а они сидят себе, пьют и поют. Уже и темная ночь на дворе, уже бы чумаку и в дорогу пора, а он сидит себе да пьет. Уже и полночь на дворе, а он все-таки сидит и пьет, а шинкарочка знай наливает, а волы бедные в ярмах стоят. Вот уже и Чепига, и Волосожар за гору спрятался, и зорница взошла. Чумак Роман как бы опомнился, взял шапку, люльку и вышел из корчмы, лег в воз, накрылся свитою и едва проговорил: «Соб, мои половые!» — волы двинулись, взяли соб и пошли чистым полем, а не Лохвицкою дорогою. Неизвестно, долго ли они так шли и долго ли чумак Роман спал, только он проснулся уже в городе Кременчуге. По его следу поехали другие чумаки и прорубили широкую дорогу, и назвали ее Романовым шляхом. А почему его зовут Ромоданом, этого чумаки не знают.

Таково слово в слово сказание народа о Ромодановской дороге. Не улыбайтесь добродушно, мой благосклонный читатель, я и сам плохо верю этому сказанию, но, по долгу писателя, должен был упомянуть о сем досужем вымысле народа.

Ближе к истине полагать можно вот что о происхождении Ромодановского шляху. Не был ли его пролагателем князь Григорий Ромодановский, который в 1686 году водил московскую рать под Брусную гору, чигиринскую резиденцию неукротимого гетмана Петра Дорошенка? Я думаю, это будет правдоподобнее.

Но кто бы ни проложил эту дорогу, нам, правду сказать, до этого дела нету. А заговорили мы о ней потому, что описываемое мною происшествие совершается по сторонам ее.

Но чтобы вы полное имели понятие о Ромодановской дороге, то я прибавлю вот что.

Примечательна эта дорога тем, что, начиная от Ромна и до Кременчуга, не касается она на расстоянии 300 верст ни одного города, ни местечка, ни села, ни даже хутора. Лежит себе чистым, ровным, злачным полем. Только кой-где стоят корчмы с огромными столами и глубокими колодезями, построенными, собственно, для русских извозчиков, — наши чумаки никогда не останавливаются в корчмах. А по сторонам ее часто встречаются земляные укрепления разной величины и формы, поросшие перием. Нередко виднеются и курганы, совершенно круглые, сажень 50 в диаметре. Есть и больше, и меньше, всегда с выходами: двумя, тремя и четырьмя, смотря по величине кургана. Их простой народ называет просто могилами. Есть и такие насыпи (и это самые большие), которых и форму определить нельзя. Это валы разной величины и в разных направлениях. Думать надо, что форма этих шанцев впоследствии испорчена корыстолюбивым и любопытным потомством. Не помню, кто именно пробовал добывать селитру из Орельских земляных укреплений, или так называемой линии, построенной П[етром] Первым между Днепром и Доном, на берегу реки Орели. Но результаты оказались совсем неудовлетворительны. То может быть, что и описываемые мною курганы были пробованы каким-нибудь любителем селитры — Ходаковским в некотором роде. Не знаю, пускай про то ведают антиквари.

Нужно еще прибавить, что все эти так называемые могилы имеют свои названия, как-то: *Няньки, Мордачевы, Королевы* и т. д. Последние, быть может, окопы Карла XII, потому что он в этих местах когда-то шлялся с своими синекафтанными шведами.

Я, однако, во зло употребляю терпение моих благосклонных слушателей: разносился с своим Ромоданом, как дурень с писаною торбой, наговорил, что твоя перекупка с бубликами, а о самом-то деле не сказал еще ни слова.

Недалеко от Ромодановского шляху, по правую сторону (едучи из Ромена), лежит широкая прекрасная долина, окруженная невысокими холмами, уставленными, как будто сторожами, столетними дубами, липами и ясенями: вдоль широкой долины извиристо вьется белой

блестящей полосой Сула. По берегам ее стоят, распустя свои зеленые косы, старые вербы и бересты. Вдоль берега Сулы растянулось большое село, закрытое темными зелеными садами. Только кой-где из густой зелени прорезывается белое пятнышко — это белая хата с соломенной крышей. Таков вид всех почти сел в Малороссии, с большим или меньшим количеством ветряных мельниц. И как приветливо они машут своими крылами утомленному путнику, предлагая гостеприимный отдых в своих зеленых благоухающих садах.

Солнце близилось к горизонту и золотило своим желто-багровым светом и без того золотые, уставленные копнами поля благодатного села. Широкая долина покрылась прозрачным светло-фиолетовым туманом и спрятала прекрасную линию своего горизонта в тумане. Сула зарделась матовым румянцем, как загоревшая на солнце молодая жница при встрече с милым косарем своим. По желтому пурпуровому мату извилистой Сулы кой-где тянутся за рыбацким челноком светлые блестящие струйки. Тянутся и пропадают в темно-зеленом очерете. Вербы и вязы еще ниже склонились к воде, как бы оплакивая умирающий день.

В такую-то вечернюю пору возвращались в село с поля молодые прекрасные жницы. И как в этот день жнива были окончены, то они, каждая для себя и для освящения в церкви, сплели венки из колосьев пшеницы, жита и васильков и, увенчавшись венком, возвращались с песнями ввечеру в село, выбрав сначала из среды себя царицу, чтоб было кому песни припевать.

Впереди всех их, тихо выступая, шла прекрасная царица свята; стыдливо, как бы от тяжести венка, опустила на грудь свою прекрасную смуглую голову, укрытую золотистым венком и распущенною черною косою; в руках у нее был серп и небольшой снопок жита, перевитый зеленою березкою. Настоящая Церера. За нею шли девушки и пели в честь ее свои заунывные песни; за девушками шли молодые косари — они косили отаву на Суле — с косами и скромно вторили им.

И вся эта картина была освещена заходящим раскаленным солнцем.

Прекрасная, умилительная картина!

А подойдите вы к этой картине поближе, всмотритесь в нее повнимательнее, и вы увидите на ее светлом, розовом фоне такие пятна, что невольно отворотитесь и на унылые мелодические песни этих прекрасных жниц вы горько улыбнетесь и закроете уши.

Живуча и деятельна натура человека!

С утра до вечера на солнце, без малейшей тени, с утра до вечера, согнувшись, жнет бедная жница. И что же? Настал вечер — идет домой, поет, а дома, не успев повечерять, опять на улице или в саду, и опять поет и поет, не умолкая до рассвета. С рассветом опять за серп и на ниву, и снова целый день на солнце, согнувшись целый день, как ни в чем не бывало.

О агрономы-филантропы! Выдумайте вы вместо серпа какую-нибудь другую машину. Вы этим окажете величайшую услугу обреченному на тяжкий труд человечеству.

Группа косарей и жниц с своею прекрасною царицей, отраженные в светлых струях Сулы, медленно приближались к селу. Навстречу им выбежали дети и вышли с грудными младенцами матери, встречая и поздравляя взрослых детей своих с благополучным окончанием озимных жнив.

Мать же своей прекрасной царицы со слезами благодарила девушек за оказанную честь ее дочери и просила всех до своей хаты на вечерю.

Девушки, войдя в село, *значительно* переглянулись между собою, а молодые косари нахмурили свои черные брови. Что бы это значило?

А вот что! И те, и другие заметили около некоторых ворот вихи.

«Какое же им дело до вих?» — вы скажете. О, им великое дело до этих зловещих маяков!

Когда вы въезжаете в малороссийское село и видите у ворот на высоком шесте несколько соломенных кисточек, это значит, что в селе не пехота, а кавалерия квартирует. Виха означает конюшню, а число соломенных кисточек — число лошадей на конюшне. В описываемое мною село пришли еще только квартирьеры, назначили квартиры и расставили вихи для конюшен.

Вздрогнуло сердце не одного чернобрового косаря при виде этих зловещих вих.

Не один из них припомнил страшные, трагические рассказы про бесталанных покрыток.

А жницы! О мои родные жницы! Никакие кровавые драмы вас не научат! Новина — ваш проклятый идол, новина, перед которым вы кладете все, часто честь, а за нею и жизнь свою бесталанную!

С поклоном и честью встретил жниц седоусый Влас, отец прекрасной Лукии, и просил их милостиво зайти к нему в оселю и повечерять, что Бог дал.

Жницы с песнями вошли на двор, а на дворе уже, на зеленом *шпорыше*, была разостлана большая белая скатерть. Девушки, по приглашению хозяина и хозяйки, сели вокруг скатерти. А царица свята, снявши золотой тяжелый веночек свой, и завернув круг головы кое-как свою роскошную черную косу, и засучив широкие рукава своей рубахи, приняла от матери графин с водкою и начала потчевать своих подруг.

В продолжение ужина отец и мать Лукии сидели на призьбе и любовались своей единственной прекрасной дочерью. Через край полную счастья жизнью их сердце билось, глядя на свою Лукию.

А она, как приветливая хозяйка и услужливая работница, угощала подруг своих со всею прелестью наивной простоты.

После вечери девушки, помолясь Богу и поблагодарив хозяина и хозяйку и свою молодую подругу за вечерю и взявши венки, чинно вышли на улицу.

А на улице под частоколом и под вербами дожидали их их чернобровые косари.

— Иды и ты, моя доненько, на улыцю, поспивай с дивчатамы.

— Не хочеться мени, моя мамо!

— Чому ж тобі не хочеться, мое серденько? Може, ты утомилася, то ляж, засны.

— Я ляжу спать, мамо.

— Пострывай же, я тобі постелю постелю.

И мать постлала постель своей утомленной дочери и, перекрестя, уложила ее спать.

Лукия, утомленная дневным трудом и вечерним счастьем, немного повертевшись на постели,

заснула.

А усталые подруги ее всю ночь простояли с своими чернобровыми косарями под вербами и под калинами, припевая:

Выйды, Грыцю, на улыцю
И ты, коваленку,
Постоимо пид вербою
Вкупочци тыхенько.

Если бы на завтрешний день не вступили уланы в село, то вся бы эта история могла и кончиться одной идиллией, а уланы, только что вступили, сейчас завязали драму. Вследствие чего и прошу моих слушателей пропустить мимо ушей по крайней мере год и обратить снисходительное внимание на картину следующего содержания.

Верстах в пяти, а может быть и больше, по левую сторону Ромодановского шляху (из Ромен же едучи), как раз против описанного мною села, лежит пологая широкая равнина, так широкая и длинная, что горизонт ее в тумане теряется, а в летние жаркие и тихие дни то бывают и миражи, как будто бы в необитаемых бесплодных и безводных степях киргизских. Вся эта долина испещрена разноцветными нивами и уставлена темными могилами, формой и величиною похожими на те могилы, что между Киевом и Васильковом, на Бело княжем поле. Я это говорю потому, что из Киева в Одессу более проехало людей, интересующихся отечественными древностями, нежели из Ромна в Кременчуг. Ромодановским шляхом, как известно, ходят только одни чумаки, а чумаки простой человек, какое ему дело до каких бы то ни было могил? Он может только задать себе вопрос: «Чиим-то трупом вас начинено?» Или, задумчиво глядя на темные могилы, запоет однозвучно, монотонно.

Так вот на этой-то равнине, между угрюмыми могилами и пестрыми нивами, зеленеет небольшой гай (роща), как бы оазис в пустыне аравийской (красно сказано!). Это хутор богатого козака Яким Гирла.

Подойдем же мы ближе к хутору и посмотрим на красоту его безыскусственную и на жизнь его хозяина. Для нас это путешествие тем более необходимо, что на этом уединенном хуторе будет продолжаться предлагаемая драма.

Весь хутор с фруктовым садом и гаем занимает не более пяти квадратных верст и окопан глубоким и широким рвом. А ров усажен вокруг всего хутора кружовником. Ворота не дощатые, как это бывает у постоянных русских дворов, а обыкновенные, простые; по сторонам их дубовые массивные столбы и по несколько частоколин. Да у глухого конца ворот старая широковетвистая верба, как бы заслоняющая от недоброго глаза благодатный хутор. Войдя на двор хутора, вы увидите с правой стороны большую клуню, обставленную полускирдами разного хлеба, по левую сторону ворот загоры с сараями для разной скотины, а за клунею недалеко, под старыми берестами, две дубовые коморы и возивня. Напротив комор лех с железными дверями, а в самом конце двора, под липами, белеет хата, снопками крытая на польский лад. За хатою идет уже сад с разными породами яблунь, груш, слив, вишен, черешен и даже три старых дерева грецких орехов, вывезенных из Крыму еще дедом Яким Гирла. Посередине саду колодезь с колесом и навесом. А за садом в гаи, на небольшой поляне, пасика с куренем и погребом для пчел. А там уже дубы, липы, березы и всякое дерево до самого рва. А за рвом уже был небольшой ставочек и около него огород, окруженный небольшим рвом и усаженный кукурузою и подсолнечниками, а баштан был немного подальше в поле.

Так такой-то благодатный хутор у старого козака Яким Гирла.

А каким добром наполнены его дубовые коморы и лех, и рассказать нельзя.

А чумаки его — где они на свете ни ходят! И в Крыму, и на Дону, и в Одессе, а про Киев и говорить нечего.

Раз было взялся он поставить песок сахарный в самую Москву; только Москва шутить не любит с нашим братом хохлом. Так что он едва с парой волами домой пришел. И с тех пор, если ему ненароком кто скажет слово про Москву, то просто из хаты выгонит, а если в гостях услышит такое слово, то наденет шапку и, не прощаясь с хозяином, уедет на свой хутор. Яким Гирло, как видно, был человек не так себе. Не всякому давал себе ступить на пяты.

Это было в августе месяце, в воскресенье, так около полудня. Яким Гирло вышел из хаты и сел на призьбе. Он был человек уже немолодой, но свежий и здоровый, усы и чуб были не то что седые, а серые. Рубаха на нем чистая, белая, шаровары тоже белые; он не любил разных московских китаек, а носил все белое; сапоги на нем хорошие, юхтовые. Взглянувши на него раз, то можно было сказать, что это человек достаточный: в лице что-то есть такое.

Вскоре за ним вышла и жена его Марта, женщина лет сорока, а может и больше, чисто и хорошо одетая, в желтых юхтовых сапогах, в плахте и шелковой красной юпке, — хоть бы и на старухе, так было бы к лицу.

Вынесла Марта сначала скамейку, покрытую *килымком*, и поставила ее перед мужем, а потом уже вынесла миску с варениками и тарелку со сметаной. И все это поставила на временном столе перед мужем и сама села около него.

— Нумо полудновать, Якиме, — сказала она мужу.

Яким, перекрестясь, сказал:

— А полудновать, так и полудновать. Господи, благослови!

И с этим словом расправил свои серые усы и взял вареник.

После вареников Марта вынесла миску слив и желтую душистую дыню; покушали и слив, и дыни немного. После полдника Марта убрала все и села опять на призьбе около своего мужа. Долго они сидели молча. Наконец Марта заговорила:

— Что-то долго не видать чумаков наших с рыбою.

— Да, что-то долго не видать. — И Яким замолчал. Ему как бы не хотелось продолжать разговора. Впрочем, он вообще был неговорлив.

Немного погодя Марта опять заговорила:

— Я все думаю, Якиме, кому-то мы после себя добро свое оставим? Не даровал нам с тобою Господь ни дочери, ни сына. Так и померемо одиноки!

— Так что ж, что померемо? Люди добрые похоронят, а добро поживут!

— Конечно, поживут, никуды оно [не] денется. А все-таки лучше, если б было свое родное дитя.

— Так где же его взять, коли Господь прогневался на нас за грехи наши?

— Да, прогневали мы милосердного Господа, не утешил Он ледачую старость нашу! Так и гробовой доской покроемся, и некому будет от души заплакать, и некому будет помянуть наши души грешные! Знаешь что, Якиме? Поеду я завтра в Бурта да отвезу отцу Нилу на «Сорокоуст» и за твою, и за свою душу. Пускай отслужит, когда помрем.

— Ты заговоришь всегда такое, что просто не слушал бы тебя. Ну, скажи-таки, умная ты голова, кто живой человек по своей душе «Сорокоусты» правит?

— Нету, Якиме! Не по живой душе, а по усопшей. А это я думаю сделать для того, чтобы после не остаться без поминовения.

— Бог милостивый, не останемся. А я вот что думаю: чтото наша челядь из села долго не возвращается.

— Цыть, цыть, Якиме! Чуешь?.. О, ще раз!

— Что там ще раз?

— Чуешь?.. Дытына плаче...

— Так и есть, за воротами...

— Пойдем посмотримо, Якиме.

— Ходимо.

И не по летам бодро встали с призьбы и пошли к воротам. Кто же расскажет радость старой Марты и Якима, когда они увидели под перелазом дитя, окутанное старой серой свиткой, и головка прикрытая зеленым широким лопухом.

— Якиме! — только могла проговорить старая Марта, всплеснув руками.

А старый Яким, снявши *брыль*, молился Богу.

— Якиме! — сказала Марта, взявши ребенка на руки. — Посмотри, какое здоровое да хорошее!

Яким взял ребенка на руки и сказал:

— Пойдем в хату, — оно, бедное, голодное.

И они пошли в хату с своею дорогою ношею.

Пришедши в хату, Яким положил младенца бережно на стол, достал с полки Псалтырь (он был грамотный) и, перекрестясь трижды, прочитал псалом «Живый в помощи Вышняго». Потом взял младенца в руки и, передавая его Марте, сказал:

— Паче ока береги его!

Марта, перекрестясь, приняла его и положила на подушку.

— Посмотри за ним, Якиме, пока я молока принесу. Принесши молока, Марта принялась кормить младенца. А Яким вышел на двор, нашел в сарае *ночвы* и стал прилаживать к ним веревки. Через полчаса принес он в хату, к немалому удивлению Марты, готовую колыску. Остаток дня прошел для них незаметно. К вечеру, когда ребенок заснул в своей скороспелке-

колыске, Марта, забыв, что было воскресенье, достала тонкого полотна из *бодни*, принялась кроить маленькие рубашки.

Возвратившаяся из села челядь рассказывала, что они видели на могиле какую-то молодницу. «Сначала она пела какую-то песню, а [потом] заплакала, а когда мы перекрестились, то она исчезла. Должно быть, нечистая сила, и в могилу провалилась», — так закончила свой рассказ Мартоха, девка не робкого десятка.

На другой день до восхода солнца Яким заложил в бричку пару добрых коней, помостил в бричке сена и покрыл его килымом, сел в бричку и поехал в село Бурта за отцом Нилом.

Проезжая мимо могилы, он увидел в утреннем тумане на могиле женщину. Она была лицом обращена к его хутору.

Он посмотрел на нее, остановил кони и громко сказал:

— День добрый, молодыце!

— Спасыби, — отвечала женщина.

— Что ты тут делаешь, молодыце?

— Вчера корову загубыла, так смотрю сегодня, не пасется ли где.

— Ну, добре, оставайся здорова.

— Спасыби.

Яким дернул вожжами, и добрые кони понесли его шляшжом через поле.

К обеду Яким возвратился на хутор с отцом Нилом и с отцом дьяконом. Отдохнувши немного под хатю и освежившись закрепленным березовым соком, отец Нил вошел в хату, сначала прочитал младенцу молитву и нарек его Марком, потом с отцом дьяконом совершил обряд святого крещения. Восприемниками были Яким и счастливая Марта.

До самой субботы гостил отец Нил и дьякон у Якима на хуторе, да и не они одни, а много таки добрых людей набралось на Марковы крестины.

Прошел месяц после крестин Марочка (так называла его Марта), и на хуторе Якима Гирла ничего особенного не случилось, разве только, что вскоре после крестин чумаки пришли из Дону; но это происшествие весьма обыкновенное, хотя, правду сказать, наблюдательный ум и в этом обыкновенном случае наберет много пищи, как на ничтожном цветке трудолюбивая пчела. Особенно в первые дни послушать досужего чумака, как он примется рассказывать за чаркою горилки, какие он бесконечные степи проходил, из каких бездонных крыныць волю поил, по сколько суток сам без воды и хлеба пропадал, какие города видел, какие на какой реке переправы имел, какие где народы видел, — просто волосы дыбом станут, когда слушаешь.

Но у Якима Гирла не было такого досужего чумака, следовательно, не было и повествования о мудреных чумацких приключениях.

Сентябрь месяц проходил и, проходя через хутор, красил своим дуновением зеленый гай разными золотыми и красными красками. Так издали ежели посмотреть на гай, то кажется, как

будто он покрыт дорогим разноцветным ковром, особенно при закате или при восходе солнца.

На могиле близ хутора каждое утро и вечер челядь видела таинственную молодую женщину, и начали поговаривать, что это что-нибудь не просто. А оно было очень просто: бедная эта молодая женщина была не кто иной, как простая покрывка и мать маленького Марочка. Она, сердечная, не могла оторваться от того места, [где] выросло ее бедное, ее прекрасное дитя. Сколько раз она приходила по ночам к самому хутору, обходила кругом его, проводила ночи бессонные в рову, или, по воскресеньям, когда челядь уходила в село, она невидимкою подкрадывалась к самым воротам, чтобы услышать хотя один звук своего милого дитяти. Сколько раз она покушалась взойти на двор и выпросить назад или, наконец, украсть свое дитя, потому что ей без него не можно было жить на свете, без него хлеб не елся, вода не пила, солнце Божие не светило и не грело.

После измены своего улана-обольстителя вся любовь ее, все нежнейшие чувства униженной матери были сосредоточены на нем одном, на своем сироте-дитяти.

А оно, бедное, в чужих людях, на чужих руках засыпает, чужою грудью питается, без любви, без сердечного материнского поцелуя.

Любовь матери превозмогла и страх, и стыд. Она решилась во что бы то ни стало войти на хутор, решилась и дожидалась только воскресенья, когда людей меньше будет на хуторе.

В воскресенье, пообедав и, разумеется, отдохнувши, Яким Гирло сидел за столом в своей светлице и читал из Псалтыря «Не ревнуй лукавствующим, ниже завидуй творящим беззаконие». А Марта, убаюкавши Марочка в новой колыске, стояла над ним долго задумавшись и, вздохнувши, сказала:

— А что я думаю, Якиме?

— А Бог тебя знает, что ты там думаешь?

— Я думаю, прости меня Господи, что если наш Марочко, Боже нас сохрани, умрет, что мы тогда делать будем?

— Я так и думал! Ну, не грех ли тебе такое все скверное в голову забирать!

— Нету, Якиме, когда я на него смотрю сонного, то мне всегда такое в голову лезет.

— Молись Богу, Марто, Бог милосердный не попустит такого великого несчастья.

— Еще я думаю, Якиме, коли, даст Бог, доживем до Покровы, то поедем в церковь, запричастим нашего Марочка, ему тогда будет как раз шесть недель.

— Поедем, это дело христианское.

— А там я думаю заодно уже расспросить, не найдется ли хорошая наймица, потому что теперь, сам видишь, нам одной наймицы мало.

— Что ж! Что нужно, я от того не прочь.

— Да если б Бог дал, чтобы и хозяйство таки знала, тогда я бы себе нянчилась с Марочком, а она бы по хозяйству поралась.

Марта, вздохнувши, замолчала. А Яким, перекрестясь, начал снова «Не ревнуй лукавствующим».

Через несколько минут дверь осторожно отворилась, и в хату вошла бедно, но опрятно одетая молодая женщина. Она робко остановилась на пороге и, поклонясь, едва проговорила:

— Боже помогай!

— Спасыби, небого! — сказал Яким. — Садитесь просымо! Она молча села на лаву у порога и молча пристально [глядела?] на колыску и на Марту.

Много было нужно ей душевной силы перенести эту минуту и не показать виду, что она самое близкое существо спящему Марочку.

— Что же ты нам скажешь хорошее, небого? — спросил ее Яким. — Я зашла у вас спросить, не нужно ли вам будет наймички?

— Нужно, голубочко, и страх нужно. У нас теперь, дал Бог, малая дытына, так я все с нею нянчуся, а хозяйство совсем заброшено.

— Так я бы у вас найнялася.

— Наймысь, наймысь, голубочко, у нас тебе худа не будет.

— А издалека ли ты, небого?

— Из-под Ромен, дядюшка.

— Добре! А что же ты возьмешь платы за год?

— А что вы платите другим, то и мне дайте.

— Добре! Мы платымо Мартоси пятнадцать на ассигнации, новую белую свиту и шкапови чоботы.

— Добре, и я так наймуся.

— Добре! Дай вже нам, Марто, чого-небудь пополудновать.

Марта, уходя, сказала Яким:

— Посмотри на Марочка. Ежели оно проснетя, то поколыши его.

Яким передвинулся на другой конец стола, поближе к колыбели.

Марта прибавила из-за дверей: «Та не бери его на свои железные руки. Я сама сейчас вернуся».

— Разносилаь [с] своими панскими руками, — проворчал Яким и ласково прибавил: — Садись, небого, на ослон, поближе к столу.

— Спасыби вам. — И наймичка подошла к столу и посмотрела на колыбель, переменялася в лице, и две крупные слезы скатилися с ее исхудалых щек. Яким заметил это и спросил:

— Что, небого, може, и у тебе дытына е?

— Было, да Господь себе взял.

— Так, так. Значить, ты, небого, вдова?

— Ни, московка... — проговорила сквозь слезы наймичка.

— Так, так... А как тебе зовут, небого?

— Лукия...

В это время проснулся ребенок и заплакал. Старый Яким принялся колыхать, припевая:

Э... э, люли,
Чужим дитяам дули,
А нашому калачи,
Щоб спало вдень и вночи.

Бедная Лукия! Потому что это была она — та самая счастливая прекрасная царица непорочного сельского праздника. Бедная! чем отдалися в твоём сердце звуки твоего милого единого дитяти? Бедная! ты сама чуть не зарыдала и не запела вместе с Якимом. Но ты силою любви твоей удержала порыв восторга и только тихими слезами утишила его.

Марта возвратилась с полдником, поставила его кое-как на столе и бросилась к колыбели.

— Цыть, цыть, мое серденько! Ну тебе с своим волчьим голосом, только моего Марочка перепугал. Цыть, моя пташечко! Я тобі мозючок дам! — И она сунула ребенку рожок с теплым молоком и обратилась к Якиму: «Чему же ты не просишь полудновать? А коли хочешь яблоч или дуль, то сам сходи в лех. Та заодно наточи и грушевого квасу. А я от дытыны не отойду, поки воно не засне, сердешнее! Ишь, как напугал, и до сих пор еще слезки у бедного на щечках. Годуйся, годуйся, мое серденько!»

Яким, помолясь Богу, сел за стол, пригласил и Лукию с собою садиться. После нескольких вареников он заговорил как бы сам с собою:

— Видишь, какая на свете правда. Отдать бедного одинокого человека в москали, а жену, сироту убогую, пустить по миру. Нехорошо меж людьми делается! Добро, что она еще богобоязненная, ищет себе кусок хлеба трудами честными. А другая бы на ее месте и при ее красоте и молодости пропала! С душою и телом пропала навеки.

— Разве Лукия московка? — спросила Марта, вслушавшись в слова Якима.

— Московка, — ответил Яким, не подымая головы.

— Бесталанная! А может, муж твой, Лукие, пьяныця, ледащо було?

— Ледащо! — ответила Лукия.

Яким поднял голову, посмотрел на Лукию и сказал:

— Так туда ж ему и дорога.

— И я так думаю, Лукие! — сказала Марта. — Боже сохрани и заступи, Пресвятая Дево, нашу бедную сестру от лихого да ледачого мужа. Мы вот с Якимом, благодаря Бога, часточку прожили-таки на свете; правда... ну, да смолоду чего иногда не случается...

— Ну, завела теперь свои гусла... — сказал Яким полушутя, полусурово. — Да вашу сестру если

б не помять хорошенько, то и добра не видать.

— Ну, да вы хороши. Негде правды спрятать... Отак всегда заговорюся с ним и не вижу, что мой Марочко давно заснул. — Она бережно закрыла его чистою простынкою и присела, перекрестясь, к столу около Лукии, сказавши:

— Годуйся, Лукие! Ты не смотри на него! Он у меня всегда что-нибудь ворчит. Такой уж зародился никчемный.

И она взглянула, ласково усмехаясь, на мужа. Яким и виду не показал, что заметил ее улыбку, только погладил усы рукою.

Полдник кончился, все встали из-за стола, помолились Богу, и Марта, собирая со стола посуду, сказала Лукии:

— Ты бы, Лукие, пошла в другую хату та отдохнула с дороги. Теперь там никого нету, все ушли в село на музыки.

— Спасыби вам. Я не очень устала. — А ей, бедной, весьма нужен был покой или по крайней мере уединение.

— Ну, где же таки не устала! Ведь, шутка сказать, — от Липового до нас будет, я думаю, верст сорок. Как ты думаешь, Якиме?

— Сорок будет, — ответил Яким.

— Я в Ромне переночувала.

— Ну, та хоть и переночувала, а спочить тебе все-таки не пошкодыть, — сказала Марта, как бы инстинктом угадывая душевную усталость Лукии.

— То я пойду и одпочину немного, — сказала Лукия, отступая к порогу.

— Постой же, я тобі покажу хату, — сказала Марта и вышла в темные сени. Потом отворила противоположную дверь светлицы и ввела Лукию в просторную чистую хату.

— Ляж отут на полу или на лави та отдохни немного, Лукие.

— Спасыби вам, — сказала Лукия. А Марта вышла с хаты, притворивши за собою двери.

Лукия, оставшись одна, кругом оглянулася, как бы уверяясь, что она одна в хате. Упала на лаву, закрыв лицо руками, тихо и горько зарыдала. Она плакала не от горя и неведения, ее прежде пожиравшего, но от полноты душевной радости. Она уверилась, что дитя ее здорово и что люди, принявшие его, люди добрые!

«Господи! — она проговорила. — Благодарю Тебя, Святая Матерь Божия! Благодарю Тебя, Святая Заступнице! Благодарю Тебя, моя единая Утешительнице!» И она снова залилась слезами. Приходя в себя, она ходила по хате, тихо плакала, ломая свои исхудалые загорелые руки.

— А как ты думаешь, Марто? — сказал Яким своей жене, оставшись одни в светлице. — Я думаю, что наша новобранка честного, хорошего роду дочка.

— И я думаю, Якиме, — сказала Марта, вытирая миску, — что она честного роду. Худого

человека сразу угадаешь. Та видишь, она такая сумная. А може, это так, с дороги.

— Ни, не с дороги, я думаю, а она бесталанная, и сама знает свое бесталанье. Когда ты выходила за полуднем, то она взглянула на Марочка и заплакала. Я спрашиваю: «Чего ты плачешь?» А она мне и говорит: «И у меня было дитя, та Бог прибрал». Так вот оно что.

— Бедная! Ей только и радости, что дитя оставалось на свете, и того Бог лишил. А не говорила, хлопчик чи дивчина?

— Хлопчик, — сказал Яким и задумался.

Марта, поставивши миску в *миснык*, села на лаве и тоже пригорюнилась. Через минуты две молчания, вздохнувши, Марта спросила у Якима:

— А как ты думаешь, Якиме, отдавать ли нам Марочка в школу или нет?

— Розумная голово! Подумала ли ты, что говоришь? *Теля еще бог знае где, а ты. уже и довбню готовишь*, — сказал Яким почти сердито.

— Ну, вот уж и рассердился — я так только сказала.

— То-то вы все так говорите, цокотухи, а того не подумаешь, что еще Бог пошлет завтра. Школа, школа вещь, коли ты хочешь знать, не малая. Вот, например, у Таранухи учили, учили сына, а вышло что? Пьяныця и любостяжатель.

— Ну, ты уже когда рассердишься, то с тобою и рады нету! — сказала Марта, вставая со скамьи. — У тебя и спросить ничего нельзя. Ну, коли не хочешь отдавать в школу, то сам учи.

— Я-то буду учить его письма, сколько сам, грешный, разумею. А вот чтобы ты его сначала научила!

— А я его чему научу? Нехай соби здоров росте та счастливый буде. Мое дело женское, чему я его научу?

— Чему? Тому, чего ты и сама не знаешь: всему доброму! Вот что! Ты тепер у него мать, так учи его, когда он, даст Бог, заговорит, молиться Богу. А я, посмотревши, как он будет молиться, и Письма Святого выучу. И Псалтырь ему свою святую, умираючи, передам.

— Насилу договорил до краю! Цыть! цыть! мое серденько. — В это время проснулся Марко. Марта подбежала к колыске и, убаюкивая Марка, бессознательно запела:

Ой жила вдова
Та на край села,
Выгодувала сына,
Сына Ивана.
Выгодувавши, до школы дала,
А з школы взявши,
Коня купыла.

И, взявши на руки малютку, ходила, приговаривая:

— Вот если бы лето, то в садок бы пошли, зашли бы в пасику. А там сидит старый дид. У! Какой страшный! Вот он! Вот он! Посмотри, какой страшный! — И она показала на Якима, сидящего за столом. Яким молча улыбнулся.

Знаешь ли ты? Видишь ли ты, бесталанница, свое родное счастливое дитя?

Видит и знает. Она, не прислушиваясь, слышала каждый звук, произнесенный старою Мартою и старым Якимом. Она в глубине души своей прозревала будущее своего дитяти. И от полноты сердечной радости благодарила всемилосердного Бога за ниспосланное ей счастье!

Следующий и последующие дни текли на хуторе обыкновенным чередом. Новая наймичка вскоре освоилась со всею челядью и всем полюбилась. Она ко всем равно была внимательна и ласкова равно со всеми. Хозяйка и хозяин были ею особенно довольны, особенно за любовь ее к маленькому Марку. И действительно, он ни засыпал, ни просыпался без нее. Она всегда находила предлог присутствовать при его колыбели. Приносила ему пеленки теплые, чистые такие, что хоть бы и панычу какому, так не в стыд. Она как бы чуяла его пробуждение, и к этому времени всегда у ней было готово подогретое свежее молоко. Старая Марта не могла надивиться усердию и заботливости своей новой наймички.

Еще прошел месяц, и Лукия, к немалой обиде старшей наймички, овладела всем домом. Сама хозяйка уступила ей все хлопоты и распоряжения по хозяйству, а наконец, и ключи от комор и леху отдала ей. Себе только оставила ключ от скрыни. И то потому, что, ей казалось, неприлично хозяйке не иметь ключа.

Сам старый Яким, на что уже человек сурьезный и несловоохотливый на похвалу кому бы то ни было, и тот, бывало, наедине с Мартою иной раз не утерпит, скажет:

— Что за благодать нам Господь послал в этой Лукии!

— Я и сама, встаючи и ложася, молюся Богу за благодать Его святую. Ты посмотри только, Якиме. Где она ни поворотится, что ни сделает, только смотри та любуйся, а уж до Марочка какая щирая, так я и не надивлюся. Хоть бы и прошедшую ночь. Марочко проснулся, и заплакало, бедное. Я сплю себе как убитая, а она — и Бог ее знает, как она услышала из другой хаты. Когда я проснулася, то она ему уже рожок с молоком подавала. Да еще и мне же говорит: «Не турбуйтеся, я и сама его присплю». — Спасыби ей, такая добрая да щирая. И вот уже который месяц она у нас, а хоть бы раз тебе в село сходила. Я как-то ей раз в воскресенье говорю: «Да ты бы, Лукие, хоть до церкви в село сходила». — «И дома, — говорит, — можно помолиться Богу, лишь бы усердие было». — Такая, право, щирая та усердная, дай ей Бог здоровье. Я просто паную за ее плечами.

— Да, и такое добро Бог посылает какому-нибудь ледачому человеку.

— И не говори, Якиме. Я иногда смотрю на нее, та аж заплачу. Чему бы Тебе, милосердый Боже, не послать ей талану та радости в сей жизни! Хоть бы когда-нибудь тебе усмехнулась или пожартовала, разве только с Марочком. А то всегда такая смутная та невеселая.

Подобные разговоры часто повторялися между хозяевами. Дивилися ее постоянной задумчивости, но им, простодушным, и в голову не приходила настоящая причина ее. Они видели достаточную причину быть московкою, чтобы быть бесталанною. О роду и племени ее они как бы боялися с нею речь заводить, инстинктивно понимая, что у несчастного не должно спрашивать о его прежнем счастье.

Поклон вам, грубые, простые люди! Вы бы своими расспросами заставляли ее врать и, значит, вдвойне страдать, потому что она не рождена была выдумывать небывалые исповеди своего сердца. Она была простое, натуральное, умное и прекрасное дитя природы. Она полюбила всей чистотою своего сердца уланского офицера за красоту его и ласковы речи. И когда он, ею наигравшись, бросил, как ребенок игрушку, то она, неразумная, только заплакала и долго, и

до сих пор не может себе растолковать, как может человек божиться и после соврать. Для ее простой, девственной души это было неудобовразумимо. А между людьми более или менее цивилизованными это вещь самая простая. Это все равно, что взять и не отдать.

На Рождественских святках хозяева поехали в село навестить своих знакомых, в том числе и отца Нила, и отца диякона, и весь причет церковный. Она осталась одна в доме. Челядь тоже отправилась в село на музыки, кроме старого наймита Саввы, который и дневал и ночевал в загороде с волами.

Ее счастье было полное: она была одна, одна с своим счастливым сыном.

Первое, что она сделала, проводивши хозяев и затворивши за ними ворота, — осмотрела внимательно весь двор. Вошла в хату и засунула засовом двери. Марко в это время спал. Она подошла к его колыбели, открыла простынку и смотрела на него, пока он проснулся.

Потом взяла ребенка на руки и нежно, глубоко нежно поцеловала. Ребенок, как бы чувствуя поцелуй родной матери, обвил ее сухую шею своими пухлыми ручонками. Потом она одной рукой сняла со скрыни килым и разостлала его на полу, посадила на килым Марка и, отойдя шага на два от него, плакала и улыбалась на свое прекрасное дитя; потом села на ковер и взяла на руки Марка, нежно прижимая к груди своей.

О, как она в этот миг была прекрасна, как счастлива, какая чудная, торжественная радость была разлита во всем существе ее!

Что, если бы мог в это мгновение взглянуть на нее ее обольститель? Он бы пал перед нею на колени и помолился, как перед святою.

Нет, его очерствелой, грязной душе недоступно подобное чувство.

Долго она играла с ним, подымала его выше головы своей, ставила на пол, опять подымала и опять ставила, разговаривала с ним, смеялась, целовала его, плакала и опять смеялась. Словом, она играла с ним, как семилетняя девочка, пела ему песни, сказывала сказки, называла его всеми уменьшительными, сердечными именами, и дитя, как бы симпатизируя радости своей счастливой матери, в продолжение дня ни разу не заплакало. И какое оно прекрасное было! Карые большие глазенки блестели, как алмазы, и в них много было сходства с глазами его прекрасной матери. Их оттеняли черные длинные ресницы, что и придавало им какое-то недетское выражение.

Лукия и не заметила, как наступил вечер. Что ей делать? Нужно вечерять варить, а Марко и не думает о колыске, разыгрался так, что его и до ночи не уложишь. Хоть бы скорее кто из села пришел, а то приедут хозяева, что они скажут? Подумают, что она проспала весь день и весь вечер.

Ворота заскрипели, и на двор въехали хозяева. Она отворила им двери, жалуясь на Марка, что не дает ей печи затопить.

— Что же он делает? Все плачет? — спросила Марта.

— Какое плачет! Целый день хоть [бы] скривился. Все пустуе.

— Ах ты, волоцюго, волоцюго! — сказала она, подходя к Марку. — Да ты ему еще и килым постлала.

— Не лежит в колыске — все просится на руки.

— Ах ты, непосыдящий. Постой, вот я тебе дам! — И, снявши кожух и свиту, она взяла его на руки и сунула ему в ручонки позолоченный медяник, гостинец отца Нила.

Лукия принялася затоплять печь. А через несколько минут вошел и Яким в хату, обивая арапником снежную пыль с смушевой новой шапки.

— Добрывечир! — сказал он, войдя в хату.

— Добрывечир! — отвечала Лукия.

— От мы, благодарить Бога, и додому вернулись, — сказал он, крестясь. — А что наш хозяин дома поделывает? Плачет, я думаю, для праздника.

— Где там тебе плачет! Целый день покою не дал бедной Лукии. Пустує, и цилый день пустує.

— Ах ты, гайдамака! Смотри, как он обоими ручищами медяник загарбав!

И, положивши на стол узел, снимая свиту и кожух, заговорил как [бы] сам с собою:

— Горе мне с этой матушкою Якилыною. На дорогу-таки та й на дорогу. Вот тебе и надорожився. А тут еще и дяконица, и тытарша с своею сливянкою. Ну, что ты с ними будешь делать? Сбили с панталыку, окаянные, та й годи! Лукие! Покинь ты свою печь к недоброму! Иди-ка сюда.

— А что ж вы будете вечерять, когда я печь покину? — обратясь к нему с рогачом в руках и усмехаясь, сказала Лукия.

— Не хочу я вечерять сегодня, та и завтра не хочу вечерять, и послезавтра. Та и стара моя тоже вечерять не хоче. Правда, Марто?

— Вот видишь, какой разумный! Хорошо, что сам сытый, то думает, что и все сыты, а Лукия, может быть, целый день, бедная, ничего не ела.

— Ну! ну! И пошла уже. С тобою и пожартувать нельзя.

— Хорошие жарты выдумал.

— Та ну вас, варить хоть три вечера разом, а я добре знаю, что не буду вечерять.

— Ото завгорыть! Нам больше останется.

— Пускай вам остается, — сказал Яким, садясь за стол. — А засвети, Лукие, свечку.

Лукия засветила свечу и поставила на стол. Яким, развязывая узел, запел тихонько:

Та вырис я в наймах, в неволи,
Та не було доли николи.
Та гей!..
Ой вырис я в наймах, в дорози,
При чужому вози, в дорози.
Та гей!..
Та чужие возы мажучи,
Та чужие волы пасучи.

Та гей!..

— Лукие! Брось ты там свою печь, — сказал он, развертывая большой красный платок. — Возьмы соби, дочко моя, бесталаннице, возьмы та носы на здоровье! А вот и на очипок. А вот на юпку и на спидницу. Возьмы, возьмы, дочко моя, та носы на здоровья. Ходы ты у нас не так, як сырота, а ходы ты у нас так, як роменская мещанка, как нашего головы дочка. Это поносыш, другого накуплю. Потому что ты у нас не наймычка, а хозяйка. Мы с старою за твоими плечами, як у Бога за дверьми, живемо.

— Возьмы! Возьмы, Лукие! — прибавила Марта. — Возьмы! Это мы для тебя у московских крамарей купили.

— Да на что же вы покупали такое добро? — сказала Лукия. — Зачем было напрасно только деньги тратить!

— Не твои, дочко, гроши — Божи, Бог дал, Бог и возьмет. — И он передал ей гостинцы.

Лукия, принимая подарки, кланялась и сквозь слезы говорила:

— Благодарю! Благодарю вас, мои родные, мои благодетели.

— Вот так лучше! — говорил весело Яким. — Ты нам уже, Лукие, послужи на старости, а мы, даст Бог, понемногу с тобою рассчитаемся. Ты видишь, мы вже люди старые, Бог знает, что завтра будет. А у нас, ты видишь, дытына малая, одинокая. Ну, Боже сохрани, моеи старои не стане, куда оно денется!

— Перекрестися! Что ты там, как сыч на комори, вищуеш?

— А что ж, все в руце Божий.

Марта, укладывая Марку в колыбель, тихо проговорила:

— Не слушай его, Марку, это он так от тытаревой сливянки.

— Что!.. — сказал протяжно Яким. — Как дам я тебе сливянку, так ты меня будешь знать!

— Вот уж нельзя и слова сказать.

— Нельзя.

И в хате воцарилась тишина. Только Марта шепотом напевала колыбельную песенку, изредка поглядывая на сердитого Якима. Вскоре собрались все домочадцы. Вечеря была готова. Уселись все за стол в противоположной хате. Кроме Якима, повечеряли и положились спать. Через минуту на хуторе все спало.

Не спал только старый Яким. Он сидел в светлице за столом, склонив свою серую голову на мощные жилистые руки.

Долго он сидел молча, потом запел едва внятно:

Ой волы мои та половии,
Та чому вы не орете?

Окончивши песню, он заговорил сам с собою:

— Пойду! Непременно пойду чумаковать! Да и в самом деле, что я дома высижу с этими бабами! Кроме греха, ничего. То ли дело в дорожи? Товарищество. Степ, могилы. Города, а в городах храмы Божии. Базары, купечество! Подходит к тебе бородач пузатый: «Почем, — говорит, — чумаче, рыба? или соль?» — «По тому и по тому, господа купець». — «А меньше не можна, братец чумак?» — «Ни, — говориш, — господа купець!» — «Ну, когда нельзя, так быть по сему». — И гребеш соби червончики в гаман. Эх, чумацтво! чумацтво! Когда-то я тебе забуду? Нет, конечно, иду чумаковать, только дай Бог дождаться лета, а то я отут с бабами совсем прокисну.

И, вставши из-за стола, он долго еще ходил по хате, потом остановился перед образами, помолился Богу, достал Псалтырь и прочитал псалом «Господь просвещение мое, кого убоюся». Потом начал сапоги снимать, приговаривая:

— От бесталанье, некому и сапоги снять!

Снявши сапоги, он погасил свечу и лег спать, читая наизусть молитву:

«Да воскреснет Бог».

Однообразно прошла зима на хуторе. Настал Великий пост, отговелися, и пост проводили, и Велькодня святого дождали. На праздниках, когда хозяйева уехали к отцу Нилу в гости, Лукия с своим сыном наедине повторила ту же самую сцену, что и на Рождественском празднике, с тою разницею, что она теперь надела в первый раз новую юпку, сподныцю и на голову повязала шелковый платок. Все это подарки, как уже известно, старого Якимы.

Да еще после полудня на хутор зашел венгерец с разными кроплями и постучал в окошко, чем немало напугал увлеченную разговором с сыном Лукию. Она вскоре оправилась, отворила засов и впустила венгерца в хату.

Венгерец, как известно, был в шляпе с широкими полями и сферической тульей, в широком синем плаще, с коробкою за плечами, с палкою длинною в руке и с длинными усами.

Лукия пригласила его сесть на лаву, что он исполнил нецеремонно, сначала снявши коробку с плечей. А Лукия тем временем уложила своего Марушечка в колыбель и прикрыла простынею, бояся недоброго глаза. Потом обратилась к венгерцу и спросила:

— Какие же у вас лекарства есть?

— Лекарства? О, у меня всякие, разные есть кропли: и на зубы, и на голова, и на рука, и на нога — всякие, всякие кропли есть. Только, хорош фрау, деньга будешь не жалеть? — сказал венгерец, довольно нахально улыбаясь.

— Ну, хорошо, а есть ли у тебя такое лекарство, чтобы от всяких болезней ребенку помогало?

— О, как же, от разной болезни есть, разное, всякие кропли есть.

И он раскрыл свою коробку, показывая ей пузырек за пузырьком с разноцветною жидкостию.

— Вот эта от зуба, эта — голова, эта — лихорадка, эта — рука, эта — нога, эта — брушка немножко.

— А нет ли у тебя семибратней крови? Она одна ото всех болезней помогает.

— Есть, есть, зараз ищущу!

И он вскоре достал из коробки завернутую в бумажке семибратнюю кровь. Это небольшие кусочки чего-то окаменелого, вроде мелкого ракушника темно-розового цвета. А почему оно называется семибратней кровью, то этого и сами венгерцы не знают.

— Что же будет стоить этот кусочек?

— Этот два рубля и одна полтина.

— А Боже ж мой, что же мне делать? У меня только три копы.

— Только один рубль и одна полтин. Нельзя, немножко мало. Разве еще, хорошей фрау, румочка шнапс, понимаешь — водка, и немножко кушать.

— Хорошо, и водки дам, и кушать дам, только уступите мне, ради Бога, за три копы.

— Хорошо, хорошо, отдаю, — и он подал ей кусочек волшебного медикамента.

Она взяла его с благоговением, завернула в хустку и спрятала за образ. Достала медные деньги из сундучка, расплатилась с венгерцем и посадила его за стол, достала из мисныка восьмиугольную размалеванную *пляшку* с водкой и поставила перед ним. Поставила пасху, холодное порося и пирожки с сыром и со сметаной. Уставивши все это порядком, положила ему ручник белый, вышитый по концам красной заплочью, на колени и отошла к колыбели.

Венгерец, хотя просил немножко шнапсу, однако выпил две рюмки залпом, а третью после первого куса поросенка. Окончивши все, что было на стол поставлено, он вежливо раскланялся с Лукией, потом попросил огня, закурил свою фарфоровую трубку с кривым чубуком и начал собираться в дорогу. Взваливши коробку на спину, плащ на плечи, палку в руки, шляпу на голову, он еще раз раскланялся с Лукией и вышел с хаты.

Лукия, проводивши венгра за ворота, возвратилась в хату, подошла к колыбели, открыла простыню и, увидевши, что Марко спит, перекрестила его и едва коснулась губами его разгоревшейся щечки, боясь поцелуем разбудить его.

— Теперь я, слава Богу, спокойна, — говорила она про себя. — Теперь я хорошо знаю, что мой Марочко будет жив и здоров. Теперь у меня есть лечение от всяких немочей. А про счастье его я уже не сомневаюсь. Я вымолю у Бога ему и век долгий, и долю добрую. Сказать ли ему когда-нибудь, что я его родная мать? Или никогда не говорить? — И она задумалась. — Нет, не скажу, никогда не скажу. Разве перед смертью на исповеди попу покаюсь, а то никому в свете не скажу.

И, говоря это, она убрала со стола после трапезы венгра, подошла к колыбели, посмотрела на сына, стала на колени перед образами и молилась со слезами о жизни и счастьяи возлюбленного сына.

Солнце уже закатилось. Домочадцы с песнями возвратились домой. Наконец, ворота растворились, и сами хозяева возвратились домой.

— А мы, Лукие, на дороге венгра встретили, — говорила Марта, входя в хату, — и я у него купила семибратней крови для нашего Марочка. Бог его знает, а може, что и случится, так вот у нас и лекарство есть. Что, он спит? — сказала она, понизив голос.

— Спит, — отвечала тихо Лукия. — И здесь венгер был, и я тоже купила семирратней крови.

Ой, гоп, по вечери,
Запырайте, диты, двери,
А ты, стара, не журысь
Та до мене прыхылысь.

Так припевал веселый Яким, входя в хату.

— Цыть!.. Пьяный лобуре! — проговорила шепотом Марта, показывая на колыбель.

Яким замолчал и, как бы испугавшись, снял шапку и начал креститься перед образами, потом молча разделся и лег на постель.

— Ай да отець Нил, а бодай же его...

— Цыть... — прошипела Марта.

Яким замолчал, опустил голову на подушку, и вскоре заснул. Не замедлило и все живущее на хуторе последовать примеру Якима.

Весна быстро развивала зеленые ветви в Якимовом гаи. Черешни, вишни и все фруктовые деревья сверх зелени покрылись молочным белым цветом, а земля разноцветным рястом. Начались полевые работы. Яким выпроводил с пшеницею чумаков своих в дорогу, но сам не пошел чумаковать, бояся положить где-нибудь свои старые кости на чужине, в степи при дороге, как это нередко случается с записными чумаками.

Проводивши чумаков, он усердно и смиренно принялся за свою пасику, говоря:

— Где мне уже теперь по дорогам шляться та с купцами торговаться! Вот мое дело: вертоград та пчелки Божии. Нехай молодые чумакуют.

И он почти поселился в пасике. Раз в день заходил он в хату, и то только пообедать. Когда в пасике все было уставлено и убрано как следует, а пчелы еще не роились, то он раскроет себе Псалтырь и читает вслух с утра до ночи, от доски до доски, а когда язык устанет, то он доделывает новый улей, еще прошедшее лето начатый, или починивает старую серую свиту.

Иногда приходила к нему в пасику старая Марта с Марком, и это был для него торжественный праздник. Вынималась часть меду из лучшего улья и со всеми ласками угощался дорогой гость, т. е. Марко.

С наступлением весны Лукия с другою работницею неумоимо приготавливала гряды на огороде за гаем. И когда гряды были готовы и огородные овощи посеяны и посажены, она вскопала две грядки в гаи между деревьями, посадила цветов и каждый вечер поливала.

Настало лето, настали жнива, настал, наконец, и день рождения Марка, ей одной известный.

В тот памятный день она до рассвета пошла в свой цветник, нарвала самых лучших цветов, свила из них венки и, тихо вошедши в хату, так что и Марта не слышала, положила венки на голову спящему Марку. Дитя от прикосновения свежих и влажных цветов проснулось и заплакало. Марта проснулася и увидела над колыбелью испуганную Лукию.

— На что ты его разбудила? — спросила Марта.

— Я не будила, оно само проснулося, я только веночек ему принесла, потому что оно сегодня... — И она чуть-чуть не проговорила.

— На что ему твой веночек? Только ребенка перепугала. Возьми его, повесь перед Варварою-великомученицею.

Лукия молча взяла веночек и повесила перед образом.

В тот день был какой-то большой церковный праздник. Она позычила рубль денег у другой наймички и отпросилась у Марты в первый раз в село сходить, оделась в свою юпку, сподницу, повязала на голову шелковый платок, посмотрела в зеркальце, в стене вмазанное, и покраснела от удовольствия. И правду сказать, несмотря на пролитые ею слезы и претерпенное горе, сердечное и физическое, она все еще была красавица. Она все еще живо напоминала собою ту увенчанную пшеничным венком, ту счастливую царицу праздника Лукию. Простясь с Марком и Мартою, она пошла в село.

Еще и во все звоны не звонили, когда она вошла в церковь. В церкви уже народу было довольно, и все до единого заметили незнакомую молодницу. Девушки и женщины шепотом спрашивали одна у другой: «Чья это такая хорошая молодыця?..» Она же, не обращая ни на кого внимания, поставила перед местными образами по свечечке и подала на часточку о здравии младенца Марка.

После обедни она заказала молебен о здравии рабов Божиих Якима, Марты и младенца Марка. После обедни отец Нил вручил ей просфирку и просил зайти к нему пообедать. Она зашла. Матушка Якилына привитала ее, как свою родственницу, много расспрашивала о хуторянах, в особенности о Марке: здоров ли он, большой ли он вырос, вырезались ли у него зубки? и т. д.

После обеда Лукия простилась с отцом Нилом и матушкой Якилыною, пошла на хутор.

В селе долго об ней молва ходила между парубками и молодыми девушками, но никто не доведился, откуда она и кто такая.

Возвратясь на хутор, она отдала поклоны от батюшки и от матушки старой Марте и Якиму, положила просфирку за образ до завтешнего дня, полюбовалась на спящего Марка, сняла с себя праздничную одежду. Затопила печь в другой хате и принялась варить вечерю.

Так прошел первый год пребывания Лукии на хуторе, так или почти так прошел и второй год без особенных приключений, разве только что Марко начал произносить довольно явственно слово «мама». И, Боже мой, сколько общей радости было! Его, бедного, как попугая, попеременно заставляли повторять магическое слово. По прошествии недели или двух старый Яким добился до того, что Марко начал выговаривать слово «тато». Старый Яким был в детском восторге. Он уже хотел его начать грамоте учить, только, [к] великому его горю, оказалось, что Марко не мог выговорить ни одной буквы. А Марта каждый день ему мы[ли]ла серую голову за то, что он понапрасно мучит бедную дытыну.

Еще в конце того же года, как-то в воскресенье, после обеда, сидели они все трое под хатой и пробовали краснобокие спасовские яблоки, а Марко перед ними ползал на шпорыше. Только они себе, пробуя яблоки, заслушались Якима, а он им рассказывал уже в сотый [раз], как он раз, идучи с Дону, у заднего воза колесо и *лушню* потерял. Они заслушались и не видят, что Марочко, вставши на ножки, и дыбает к ним, протянувши ручки и улыбаясь, произнося слова: «мамо», «тату». Какая же радость их была, когда они увидели идущего к ним Марка!

Лукия затрепетала от восторга и бросилась к своему Марочку, взяла его за ручонку и подвела

к внезапно осчастливленным старикам.

Тут они принялись поочередно водить его около хаты и довели до того, что Марко заплакал и сквозь слезы проговорил: «Мама кака».

Старый Яким в восторг пришел от Маркового изречения.

— Так их, так, сыну, — говорил он, — ишь, старые бабы, замучили бедную дытыну.

Хотя он первый неумоимо мучил его первым уроком хождения.

Да в этом же году осенью, по первой пороше, охотники, гоняся за зайцем, подскакали к самому хутору, и так как бедный заяц спрятался от собак на хуторе в гаи, то неистовые псари решились не оставлять бедного зверька и в гостеприимном хуторе.

На этом основании они, подъехавши к воротам, стали громко требовать, чтобы им отворили ворота.

Накинувши тулуп, вышел к ним сам Яким и спросил, снявши шапку, что им нужно.

— Отворяй ворота, тебе говорят, старый хохол!

Яким надел шапку и, не говоря ни слова, пошел обратно в хату.

— Что там такое за воротами? — спросила его Марта.

— Татары подступили, — отвечал он спокойно.

Ворота, кроме засова, были замкнуты еще тяжелым шведским замком. Охотники, полагать надо, что были немного намоча морду (термин из их же словаря).

Спешились и начали ломать ворота, но труд был не по силам и только привел их в пущее бешенство. Яким вышел во второй раз, а за ним не утерпела, вышла Марта и Лукия.

Один из охотников вскочил на двор через перелаз и бежал с поднятым арапником к Якиму. Но вдруг остановился как вкопанный и арапник опустил.

Это был красивый, стройный юноша с едва пробившимися усами.

Это был бездушный оболститель бедной Лукии. Он увидел ее и руки опустил в изумлении. Когда же пришел в себя, то вежливо сказал Яким:

— Ну, добрый старичок, когда не хочешь нас пустить на свой хутор поохотиться, то пусти, пожалуйста, в свою избу немного обогреться.

— Милости просимо, — сказал Яким приветливо.

— Пожалуйте на двор, господа! — крикнул он своим товарищам.

Лукия узнала его по голосу, быстро воротилась в светлицу, взяла спящего Марка из колыски и вынесла в другую хату.

— Что ты делаешь? — спросила ее Марта.

— Они пьяные войдут в светлицу и разбудят его, бедного. Лукия не ошиблася: охотники вошли с шумом и огромной

оплетенной бутылью в хату. Спросили довольно нахально закуски, уселись за столом и принялись мочить морды.

Молодой корнет выпил только два стакана и больше не хотел пить. Он вопросительно осматривал хату и, наконец, спросил у Марты:

— Почтенная старушка, я с тобой на дворе видел еще одну женщину, кто она у вас такая?

— Это Лукия, наша наймичка.

— Так эта колыбель, должно быть, ее ребенка?

— Нет, это наша дытына!

— Куда же спряталась твоя работница? Ведь мы не звери, чего она испугалась! — Так спрашивал чернобровый, со вздернутым фиолетовым носом и длинными усами охотник. Это был эскадронный командир уланского полка.

— Она в другой хате порается.

— Нельзя ли, голубушка, взглянуть на твою работницу? Она, кажется, недурна собою, — сказал тот же ротмистр, покручивая усы.

— Такая же, как и другие люди. Да ей теперь и некогда, — отвечала Марта.

— Закуримте трубки, господа, да марш! Я думаю, кони порядочно продрогли. Старушка, одолжи-ка нам огонька.

Марта зажгла им свечу. Охотники закурили разнокалиберные трубки, вышли из хаты. За ворота проводил их Яким и, пожелав им счастливого полюваньня, возвратился в хату.

Лукия, по уходе непрошенных гостей, тоже вошла с плачущим Марком, уложила его в люльку, окутала и стала качать, тихонько напевая какую-то песню. Марко замолчал и вскоре заснул.

Яким долго молча сидел за столом, облокотясь на руки, и, наконец, едва внятно заговорил:

— Бог его святой знает, когда эти уланы от нас уйдут? Прогневали мы милостивого Господа; вот уже четвертый год стоят да и стоят. Как будто навеки тут поселились. И что тот дурень турок думает, хоть бы войну скорее начал. А там бы, может, Бог дал бы, и улан от нас вывели на войну. А то даром только хлеб едят, благо дешевый. Ну, да хлеб бы еще ничего, у нас его, слава Богу, немало. А то грех, да и только с ними! Теперь хоть бы и наши Бурта — велико ли село? А люди добрые говорят, что уже третью покрытку покрыли.

Лукия вздрогнула.

— Да, третью покрытку! Шутка ли? Каково же отцу и матери бесталанной? А им, горемычным? Пропашие, пропашие навеки!

Лукия тихо заплакала.

— Плачь, моя доню! Плачь! Ты еще, слава Богу, хоть московка, все-таки не покрытка. У тебя

еще осталась хоть добрая слава! А у них, бедных, что осталось? Позор, и до гроба позор!

В продолжение всего этого монолога Марта сидела на скрыне, подперши старую голову руками. Потом и она заговорила:

— Так, Якиме, так. Вечная наруга. Вечное проклятие на земли. А на том свете что? Огонь неугасимый! Сказано — блудница!

— Ото-то и есть, что ты, глупая баба, стоишь в церкви, а не слышишь, что отец дьякон в Евангелии читает!

— А что ж он там читает?

— А то, что Господь прощает всех раскаявшихся грешников, даже и блудницу.

— Правда! Правда, Якиме! А вот и Мария Египетская... как ты читаешь в житии...

— Вот то-то и есть, а преподобилась же? Не плачь, дочко Лукие. Тебе нечего плакать. Ты мужнина жена, пускай плачут да молятся вот те бесталанницы. А уж ты и без мужа найдешь кусок честного хлеба... А и в самом деле, давайте пообедаем, а то за тымы уланами и пообедать не удастся.

Лукия молча накрыла стол чистой скатертью, поставила солонку и положила хлеб и нож на стол. Яким, перекрестясь, начал резать хлеб на тонкие куски, сначала сделав ножом крест на хлебе. Богу помоляся, [села] за стол Марта, а Лукия стала наливать борщ в миску.

Заяц, на беду свою, выскочил из хутора в поле в то самое время, как Яким затворял калитку и желал охотникам доброго полеванья. Охотники, увидя косога врага своего, закричали: «Ату его!» — и помчались вслед за борзыми. Только снежная пыль поднялась.

Один охотник, проскакав немного, отстал от товарищей, остановил коня, постоял недолго, как бы раздумывая о чем-то, потом махнул нагайкою и поворотил коня по направлению к Ромодановому шляху.

Охотник этот был молодой корнет, которого мы видели в хате пьющего водку стаканом. Но это в сторону: можно и водку пить, и честным быть. Одно другому не мешает. Молодому корнету, как кажется, вино (а может быть, и воспитание) помешало быть честным (потому что он по породе благородный).

Долго он ехал молча, как бы погружаясь в думу.

О чем же он думал, сей благородный юноша? Верно, он вспомнил прошлое, бывшее. Верно, он вспомнил свой проступок перед простою крестьянкою — и совесть мучит молодую и уже испорченную душу.

Ничего не бывало! Он по временам говорил сам с собою вот что:

«Фу ты, черт ее побери, как она после родов похорошела! Просто бель фам. — Молчание. — Жаль, не видал мальчугана, а должен быть прехорошенький. Я помню его глазенки, совершенно как у нее. — Опять молчание. — А что, если на досуге начать снова? Далеко, черт возьми, ездить — верст 30 по крайней мере? А чертовски похорошела! И зачем она, дура, бежала из своего села? Смеются... Эка важность! Посмеются да и перестанут. — Опять молчание. — Ба! Превосходная идея! Эскадрон один в этих двух селах! Решено! Жертвую

Мурзою ротмистру, пускай меня переведет в третий взвод, а он квартирует в этом селе, как бишь его, Гурта, Бурта, что ли? Bravo! Превосходная мысль! Я тогда могу бывать каждый день на хуторе. Превосходно! Ну, моя чернобровая Лукеюшка, закутим! Вспомним прежнее, бывшее! Марш, нечего долго раздумывать!» И он пустился в галоп. Проскакав версты две, он дал лошади перевести дух. И опять заговорил: «Хорошо! А как же я расстануся с братьями-разбойниками? Ведь день, другой, пожалуй, неделю, можно поестъ рябчиков, а там захочется и куропатки! Впрочем, я могу каждую неделю, по крайней [мере], навещать свою удалую братию один раз. Оно будет и разнообразнее, и, следовательно, интереснее. Решено! Ведь в этих случаях жертва необходима! Неси меня, мой борзый конь».

И он сильно ударил нагайкою по ребрам своего борзого коня.

Конь полетел быстрее и быстрее, почуя близость знакомого села.

И в широкой, покрытой снегом долине показалась синяя полоса. Это было село, родное село Лукии.

Он проехал шагом царыну и легкой рысью въехал в село. Первый живой предмет, попавшийся ему на глаза, это был пьяный мужик, едва державшийся на ногах. Корнет узнал в нем отца Лукии.

— Здравствуй, почтеннейший! — сказал корнет, приостанавливая коня.

— Здравствуйте, ваше благородие, — едва проговорил мужик, снимая шапку.

— А я ведь отыскал твою Лукеюшку!

— Она теперь не моя, а ваша, ваше благородие.

И, сказавши это, нахлобучил свою порыжелую шапку на глаза и побрел, шатаясь, к своей давно уже не беленной хате. Корнет посмотрел вслед ему и проговорил:

— Глупый мужик, а туда же рассуждает.

И, подбоченясь, поехал шагом вдоль села.

А глупый мужик, не рассуждая, пришел в свою нетопленую хату, посмотрел на голые стены и, как бы отрезвясь, снял шапку, перекрестился три раза и лег на дубовой, давно уже не мытой лаве, говоря как бы сквозь сон:

«Вот тебе и постеля, старый дурню! Не умел спать на перине — теперь на лаве! под лавою! в помойныци! на смитныку! в калюже с свиньями спи, стара пьянице! О Господы! Господы, Твоя воля! А, кажется, такая тихая, такая смиренная была! А вот же одурила, одурила мою седую голову!»

И он, не подымая головы, навзрыд заплакал.

В хате было пусто, холодно, под лавами валялись разбитые горшки и растрепанный веник. От стола и ослона только остатки валяются по хате. А от другой лавы и остатков не видно, кочерги, макогона и рогача тоже не видно около печи, а в печи зола инеем покрылася.

Пустка! Совершенная пустка! А недавно была веселая, белая, светлая хата.

Куда же девалась скромная прелесть простой мужицкой хаты?

Посрамления своего единственного дитя, своей Лукии, не пережила престарелая мать. Она плакала, плакала, потом захворала и вскоре умерла. Старик, похоронивши свою бедную подругу, не устоял против великого горя, начал пить и в два года пропил все свое добро, уже добивался до самой хаты.

Такие-то бывают иногда последствия минутного увлечения.

о Старик долго еще бормотал, полусонный, и, наконец, замолк. Немного погодя, мышь из норки выбежала на середину хаты, повертела головкой и, вероятно, заметила спящего на лавке хозяина, повернулась назад, еще раз осмотрелась и скрылась в норку.

На хуторе дни проходили без особых приключений. Марко вырастал не по дням, а по часам. У него прорезались зубки без особых припадков, как это бывает с другими детьми. Он стал уже ходить по хате без помощи ослона или лавы, и, целые часы глядя на его походку, любясь, старый Яким давал ему разные названия, как-то гайдамака, чумак, запорожец, и однажды нечаянно назвал его уланом, отчего Лукия вздрогнула, побледнела и вышла из хаты, а Марта, не замечая смущения Лукии, вскрикнула на Якима:

— Перекрестыся, божевиный! Какой он у тебя улан! — И, взявши Марка на руки, целовала его, крестя и приговаривая:

— Укрой и сохрани тебя Матерь Божия от всякой злой напасти. — И, лаская, укладывала его в люльку.

Лукия возвратилась в хату. Марко уснул, и тишина водворилась в хате.

Неделю спустя после описанной нами сцены, после обеда, Яким по обыкновению отдыхал. Марта тоже на печи дремала, а Марко, вооружась арапником, нарочно для него сплетенным Лукией, бегал от стола до порога и от порога до стола, размахивая своим арапником. Лукия молча любовалась своим сыном. Она с чувством тихого восторга смотрела на него и не знала предела своему счастью.

Ей послышалось, что наружная дверь заскрипела. Она вздрогнула. Через минуту отворилась дверь в хату, и вошел в охотничьем наряде корнет.

Лукия вскрикнула, схватила Марка и выбежала из хаты. Он выбежал за нею, но не мог ее догнать. Лукия спряталась в клуне, куда он побоялся войти, потому что там были молотники.

Походивши немного по двору, он вышел за ворота и, севши на коня, поскакал в поле.

Дремавшая Марта соскочила с печи и, не видя в хате ни Марка, ни Лукии, переполошилась.

За нею проснулся и Яким, и оба, не понимая, что случилось, смотрели друг на друга.

— Где Марко? — спросила Марта.

— Не знаю! — отвечал Яким.

— Кто тут кричал в хате?

— Не знаю! — отвечал Яким.

— Ты никогда ничего не знаешь! — почти крикнула Марта и вышла из хаты.

— А ты так хорошо знаешь, когда едят да тебе не дают, — сказал Яким, медленно поднимаясь с постели.

Марта вошла в другую хату, и там нету ни Марка, ни Лукии. Она вышла на двор и встретила из клуни идущую перепуганную Лукию.

А Марко, бедняжка, посинел от холоду и прегромко плакал.

— Ты Бога не боишься, Лукие? — кричала Марта. — Ну, как-таки можно бедное дитя выносить на такой холод. Видишь, как оно, сердечное, посинело? Дай его мне. И что это тебе в голову пришло, скажи ради Матери Божой?

— Я испугалась, — едва проговорила Лукия.

— Какого ты там рожна испугалась?

— У нас был в хате...

— Кто там у нас был в хате?

— Улан, кажется, — шепотом проговорила Лукия.

Они вошли в хату.

— Что там такое случилось с вами? — спросил Яким.

— Лукия говорит, что у нас улан был в хате!

Яким засмеялся и спросил:

— А волка не было с уланом?

Лукия на его остроту не отвечала.

Марка кое-как успокоили. И старый Яким снова, усмехаясь, заговорил:

— Ну, скажи, Лукие, какой это к нам улан приходил: рудый, серый и волохатый? А бодай же тебе, Лукие. От насмешила, так так!

И он простосердечно захохотал.

Лукия молча улыбалася. А Марта, качая люльку, шепотом говорила:

— Цыть! Дытыну розбудиш своим проклятым хохотом. Оно, бедное, только что глазки закрыло.

— Да как же тут не смеяться? *Вовкулака*, или тот, как его, улан рудый, в хату заходил.

— Та пускай себе и заходил, только ты замолчи, — сказала Марта, не переставая качать люльку.

Не проходило дня, чтобы старики не подтрунили над бедною Лукиею, и это продолжалось до тех пор, пока не посетил их корнет в другой раз.

А это случилось ровно через неделю.

Старики и Лукия тешились Марком, как он таскал за собою повозочку, Лукиею же сделанную из редьки, и погонял сам себя нитяным арапником. И только что он прошел от стола до дверей, как дверь отворилася и в хату вошел корнет и чуть не свалил с ног чумака Марка.

Лукия бросилась к ребенку, схватила его и бросилась из хаты. Марта выбежала за нею, а корнет, снявши шапку, поздоровался с Якимом.

— Доброго здоровья, — отвечал Яким, вставая.

— Что это они у тебя такие дикие?

— Да что, добродию! Сказано — бабы. А бабы и козы — все равно, скачут, когда завидят человека. Дуры хуторяне, никакого звычаю не знают.

— А я сегодня поохотился немного да и тебя, старина, навестил, — сказал он, садясь на лаву.

— Покорно благодаримо, просимо — садитесь. Не угодно ли будет пополудновать у нас попростому? Бы, я думаю, на своей охоте проголодались?

— Да, весьма не помешало [бы]. Я таки порядочно голоден. С утра ничего не ел.

— Ото-то ж! Посидите ж часть времени, а я пойду отыскивать своих диких хуторянок.

И он вышел из хаты.

Корнет, оставшись наедине, прошелся раза два по хате и остановился около люльки.

— Ба! Превосходная мысль! — прошептал он и, вынув из кошелька червонец, положил под подушку в люльку, и только что уселся на прежнем месте, как вошла Марта в хату, молча поклонилася гостю, достала чистую скатерть, накрыла стол и начала молча приготавливать полдник. Через несколько минут вошел Яким в хату, говоря:

— Хоть кол на голове теши, не хочет войти в хату, да й только!

— Кто это не идет в хату? — спросил охотник.

— Да наша наймичка, такая глупая, как будто людей отродясь не видала.

— А не идет, так и пускай себе не идет, — сказала Марта, — мы и без нее управимся.

Приготовивши все для полдника, она вышла из хаты.

— Прошу вашей милости, садитесь за стол та полуднуйте, что Бог дал! — сказал Яким, садясь на ослоне.

— Ах да, я и забыл. Ведь у меня есть роменская кизлярка! И он вынул из охотничьей сумы бутылку с водкой и поставил на столе.

— Не извольте трудиться, ваша честь. У нас, правда, есть и своя, да мы с старою мало употребляем, то и добрых людей иногда забываем потчевать.

И он хотел встать, но охотник удержал его.

— Постой! постой, дядя! Ведь у вас не такая, у меня ведь настоящая кизлярка. — И он вынул

серебряную чарку из сумы.

— Не знаю, не случилось пивать такой. А всякие вина перепробовал на своем веку.

— Так вот попробуй, дядя, — сказал охотник, подавая старику чарку.

— Попробуем, что там за кизлярка! — сказал он, принимая чарку и крестясь. — Господы благословы!

Выпивши водку, он немного помолчал и проговорил:

— Нечего сказать, хорошая водка. А дорога?

— По цалковому бутылка.

— О, цур же ей, когда так! У нас на карбованець видро купыш.

— Купишь, да не этакой!

— Э, все одинаково, лишь бы назавтра голова болела.

И они молча принялись закусывать колбасу и холодное свиное сало, до которого, впрочем, охотник не прикасался. Невежа не знал, что холодное свиное сало лучше всякого патефруа. А впрочем, о вкусах спорить нельзя.

Охотник кстати привел поговорку, что по одной не закусывают. Потом другую, что без тройцы дом не строится. Потом еще и еще поговорку, а за поговоркой, разумеется, наливалась и выпивалась чарка. Так что не прошло часа, а в бутылке уже было пусто, как у пьяницы в кармане.

Они стали говорить громче и быстрее. Охотник наговорил Якиму много любезностей, почти великосветских. И, между прочим, вот какую:

— А ты мне, дядя, с первого разу понравился. Помнишь?

— Помню, — отвечал Яким. — А вы мне так попросту совсем тогда не понравились. А теперь так вижу, что ты человек хороший.

— Вот то-то и есть! Ты раскуси-ка меня, дядя, так не то увидишь!

— Нет, я кусать тебя не буду, а знаемиться милости просимо.

— Ведь я, правду тебе сказать, для тебя и в ваше село на квартиру перешел, чтобы только к тебе в гости ездить.

— Благодаримо, благодаримо! Марто! — крикнул он, вставая со скамьи. — Пряжи яешню с колбасою! Давай видро выстоялки. Не знаешь, старая бабо, какой у нас человек сидит!

— Полно, полно, ничего не надо, дядя. Я сейчас уеду.

— Уедешь, только не сейчас, я тебе еще покажу нашего Марка.

— А кто это такой, ваш Марко?

— А наша дытына. Разве ты и не знаешь, что у нас и сын есть? — И он пошел к двери, бормоча:
— Вот я вам дам, вражи бабы! — и он вышел за двери.

Через минуту он внес на руках в хату плачущего Марка, а за ним вошла и Марта.

— Посмотри! посмотри! — говорил он. — Какое нам добро Господь на старости послал! На, забавляй его по-своему, — и он передал Марка Марте.

— Иды, иды, гайдамака ты, сякий сыну такой! — И он рассказал охотнику историю успокоившегося Марка.

Охотник рассеянно выслушал рассказ Якима, сказал:

— А кто же его настоящая мать?

— А Бог ее знает! Уповать надо, покрытка какая-нибудь, бесталанница!

— У тебя все покрытки! А может, и честная женщина, только бедная, — сказала Марта.

— А может, и честная. Бог ее знает. Куда же вы? — сказал он, обращаясь к охотнику. — Погостите, Бога ради, вы у нас и то редко-бываете. Стара! Выстоялки! Яешни!

— Благодарю тебя, дядя. Буду часто бывать, только сегодня не держи: не могу, дома есть дело.

— А коли дело, так и дело. Как волите, сами лучше знаете. А хорошо б попробовать еще нашої выстоялки.

— Нет, благодарю. В другой раз. Прощай, дядя.

И он вышел из хаты.

Яким, проводивши за ворота дорогого гостя и в сотый раз повторив просьбу не минать их хутора, возвращался в хату, бормоча про себя:

— Притча во языцех! Вот тебе и москаль! Вот тебе и улан! Та дай Бог, чтоб и хрещеные люди такие росли на Божьей земле. Молодец нечего сказать. И где он такую дорогую водку покупает? Говорит, в Ромнах. Надо будет поехать в Ромен та достать такой водки, чтоб не стыдно было, когда в другой раз заедет. Так, я думаю, не достанешь. Паны всю выпили. Ну, уж за этими панами нашему брату просто некуда деваться. А что ж, ведь и он тоже пан, хоть и московский, а человек хороший, очень хороший человек. Хоть бы и у нас таких панив наснять. А что, на Москве тоже растут паны?

И, задавши себе такой хитрый вопрос, Яким, шатаясь, вошел в хату.

Лукия, перестилая ввечеру постельку Марка, нашла под подушкой червонец и сейчас догадалась, что это было дело его нежного папаша, взяла его в руки и не знала, что с ним делать. Подумавши немного, она опустила его в пазуху и молча продолжала свое дело.

Охотник сдержал свое слово: он каждую неделю исправно два и три раза посещал хутор, только без всякого со стороны сердечной поощрения. Поил Якима кизляркою, а Яким его потчевал десятилетнею выстоялкою. Тем и кончались его визиты. Лукия всегда убегала из хаты, когда его только завидит, а он был до того скромнен или лукав, что никогда ни слова не сказал старикам про их наймичку. Как будто он ее никогда и не видал.

Любовался всегда своим Марком, как совершенно для него посторонний, привозил ему всегда пряники, а иногда и другие гостинцы, чем и успел приласкать к себе дитя. Так что, бывало, когда он входил в хату, то оно бежало к нему навстречу, протягивая ручонки, и кричало:

— Да-да.

В Великом посту, когда старики говели и с пятницы на субботу остались ночевать у отца Нила, чтобы не проспять заутрени, корнет перед вечером приехал на хутор. Он знал, что старики в селе и ночевать не будут дома. Оставил с денщиком своего коня, а сам прокрался, как вор, на двор и потом в хату.

Лукия в это время играла с Марком и, когда увидела его в хате, то вскрикнула и чуть ребенка из рук не уронила.

Они молча остановились друг перед другом. Марко протянул к нему ручонки и сказал свое обычное «да-да». Но «да-да» не отвечал ни слова на привет Марка. А Лукия схватила его ручонки и прижала к себе.

Долго продолжалось молчание. Наконец он заговорил:

— Скажи, Лукеюшка, за что ты меня не любишь, зачем ты от меня прячешься всякий раз, когда я сюда приеду? — Лукия молчала.

— Я мучуся! Я страдаю! Я умираю без тебя, цветочек мой прекрасный, мой розан ненаглядный. Проговори хоть одно слово, хоть взгляни на меня!

Она взглянула на него, но не проговорила ни слова.

— За что я тебе вдруг немилым стал? Вспомни ты темный сад и те короткие сладкие минуты, что мы проводили с тобой.

Она опять взглянула на него, и из прекрасных ее карых очей покатались крупные слезы.

— Чего ты плачешь, моя прекрасная? Или тебе стало жаль прошлого? Что ж, от тебя зависит, начнем снова.

Она плюнула ему в глаза.

— Не сердися, моя крошечка, я тебе всего, всего себя, всю жизнь свою тебе отдам.

Лукия с омерзением отворотилась от него, подошла к двери и, отворивши дверь, громко крикнула:

— Катре!

— Не зови никого, побудь со мною наедине, я тебе всю правду, всю истину скажу. И, ежели есть у тебя хоть искра чувства, ты извинишь меня!

Между тем вошла в хату со скалкою в руках дюжая Катря.

— Катре, голубочко, побудь с этим паном, а я вынесу Марка в другую хату, а то он его боится и плачет.

И с этим словом она вышла из хаты. Через минуту она возвратилась, держа в руке червонец.

Подошла к нежному своему обожателю и, подавая ему червонец, сказала:

— Марко и без твоих червонцев богат, возьми.

Он отодвинул ее руку. Она бросила ему червонец на пол и вышла из хаты.

Он поднял червонец, повертел его в руке, как бы раздумывая, что с ним делать.

— Вот тебе, голубушка, — сказал он Катре, подавая ей червонец. — Только ты пособи мне ее уломать.

Катря, взявши червонец, проговорила:

— Какой хорошенький дукачик! Что ж это у него дирочки нету? Как же его носить? Вот теперь если б доброе намисто.

— И монисто куплю, только ты уломай ее.

— Добре, уломаю.

И он вышел из хаты.

— За что это он ломать просил? — спросила Катря у входящей Лукии.

— Не знаю, — ответила она.

— Посмотри, какой хорошенький он мне дукачик подарил.

Лукия взглянула на червонец и не сказала ни слова. Катря вышла, а Лукия осталась в светлице и всю ночь проплакала.

В субботу, после вечерни, старики возвратились домой и не могли нахвалиться гостеприимством своего знакомого охотника. Он их после обеда от отца Нила зазвал к себе на квартиру, и чем уж он их не угощал? И чаем, и сахаром, и всякою всячиною, так что всего и не упомнишь. Одно только Марте не понравилось, что у него везде табак: и на столе табак, и на окнах табак, и на лаве табак — везде табак. Она думала, что у него и чай из табаку. А потому-то съела кусочек сахару, другой спрятала для Марка, а до чаю и рукой не прикоснулась. Еще две вещи ей сильно не понравились: это собака на постели и денщик, такой старый, оборванный, грязный, на руках грязи, что и *вихтем* не отмоешь. И еще чудно: он уже сывый, а он ругает и все кричит: «Эй, малый!» — А может, это по их московскому звичаю так и следует, Бог там их знает?

Посещения его продолжались по-прежнему, и по-прежнему без успеха. Он часто дарил разные безделушки дебелий и простоватой Катре. А та по простоте своей говорила ему, что Лукия каждый день и ночь за ним плачет и что даст Бог Велыкодня дожждаться, тогда можно будет просто в церковь да и «Исаия, ликуй».

Пост был в исходе. Нужно было и Лукии отговориться. Как же ей быть? Он теперь квартирует в Буртах, он не даст ей и Богу помолиться, а не то что отговориться. Подумавши, она попросилась у своих хозяев навестить своего отца и заодно отговориться в своем селе.

Старики охотно согласились и предложили ей сани и лошадь. Она отказывалась, но не могла отказать. А на говенье, кроме платы за службу, [Яким] дал ей карбованец.

После обеда, в воскресенье, на шестой неделе, она выехала из хутора на маленьких саночках прямо на Ромодановский шлях.

Не хотелось ей, бедной, ехать в свое село, но любовь дочери поборола в ней стыд покрывки. Она уже третий год не имела никаких сведений о своих родных.

С трепетом въехала она в свое родное село. Подъехала к воротам своим и вскрикнула в ужасе.

Ворота были разобраны, частокол повалился, соломенная крыша на хате ветром разорвана, и черные стропила виднелися, как ребра из полуистлевшего чудовища.

Привязала лошадь к оставшейся около ворот вербе, а сама вошла в хату.

Пустка, и снаружи, и внутри пустка!

— Куда же они делися, неужели умерлы? — спросила она сама себя и вышла из хаты.

У кого же она теперь приютится?

У нее давно когда-то, года три тому назад, была знакомая край села, старая московка, у которой прежде собирались вечерницы. Она к ней и направила свою лошадку.

У этой старой московки почти на выгоне было не то, что называют хатой, а, вернее, то, что у нас называют *куринем*, т. е. ежели смотреть издали, то это скорее похоже на кучу навозу, нежели на жилище человека. Вблизи же она была, как говорится (и говорится справедливо), живописна. И живописна до такой степени, что я, хотя и не любитель подобных живописных вещей, беруся, однако же, нарисовать — того для, чтоб показать моим почти сонным слушателям, что я не лгу, как какой-то *курьер*.

Ахнули в селе люди добрые, когда увидели около куреня московки клячу и едва заметные санишки.

— Откуда она взяла такое добро? — все в селе вскрикнули. — Ведь у нее давно уже вечерницы не собираются!

Пошли по селу толки — такие точно толки, как бывают в уездном городе, когда проедет по его единственной улице жандарм на тройке в чем-то [?].

Лукия, распрягнув лошадь, привязала ее к санному полозу и, бросивши ей сенца, вошла в москальхин куринь (это было в сумерки). Войдя, помолилася и едва-едва нащупала свою старую знакомую. Нащупавши, она сказала: «Добрывечир!»

— Добрывечир! — едва отвечало ей что-то.

Лукия ощупала тряпки, а в тряпках завернуто что-то живое.

— Нездужаю; стара, погана, погана стала.

— Чи нема у вас *лою*, я б *каганець* засвityла.

— *Ничего нема!* И печь не топлена. Я позавчора ходила в *гости*, воротилася *додому* та й занедужала.

— Что же у вас болыть?

— Все болыть, моя голубко.

Лукия оставила ее и через полчаса возвратилась с дровами, затопила полуразвалившуюся печь, нашла где-то под *прыпичком* с обитыми краями горшок и, положив в него снег, приставила к огню.

— Спасыби тоби, — проговорила больная.

Пока растаивал снег и потом грелась вода, Лукия вышла на двор, посмотрела на клячу, на сани и говорила сама с собой: «Господы, у мене хоть чужие добри люды есть! А у нее никого нету, настоящая сирота».

Она подошла к саням, вынула из них торбу с паляныцями и молча вошла в хату. Вода в горшке уже кипела; она его отставила от огня и спросила хозяйку:

— Чи нема у вас какой-нибудь мисочки?

— Есть, голубко, на печке посмотри. Мне на днях Майчиха прислала рыбки, дай Бог ей доброе здоровье, так мисочки я ей еще не относил.

Лукия действительно нашла глиняную небольшую чашку, вымыла ее, налила горячей воды и, подавая больной, сказала:

— Выпей ты горячой воды немного та съешь хоть кусочок паляныци, тебе лучше станет. Если б можно было достать *шавлии*, то оно бы еще лучше было. — И, говоря это, она отломил кусок белого хлеба и подала больной. Больная выпила воду, съела немного хлеба и благодарил свою лекарку.

— Тебя сама Матерь Божия послала ко мне.

— Лежи, не вставай, я тебя укрою. — И она укрыла ее своим тулупом. Между тем печка истопилась, она закрыла трубу. Больная начала дремать. Зазвонили к павечерне. Лукия надела белую свиту, осмотрела еще раз свою больную, вышла из хаты.

Она пошла к павечерне. Как она войдет в церковь? Ведь на нее все пальцами покажут. Все скажут ей в глаза, что она свою мать и отца в гроб свела.

«Пускай показывают на меня, — думала она себе, — пускай смеются, говорят, знущаются, я все вытерплю, все выстрадаю, я должна выстрадать, я великая грешница. Об одном только прошу Тебя, милосердый Боже мой, пошли Ты здоровья и добрую долю моему единому сыну».

Опасения ее насчет насмешек были напрасны: народу было в церкви мало, и ее никто не заметил. Она же себе встановилась у самых дверей, а в церкви никто назад не обращается (по крайней мере так делается в наших селах).

Уже в сумерки она возвратилась в хатку и, увидя, что больная все еще спит, тихонько вышла из хаты, сводила свою лошадку к Суле, напоила ее и, приведя обратно, подложила ей сена и обошла кругом хаты, выбирая место, где бы приютить свою лошадку. Хотя на дворе уже был март, но все-таки на случай ветру не помешало б приютить, но приюта совершенно никакого не было.

— Господи, какая она бедная! — сказала она. — Хоть бы тебе тынок какой, хоть бы хлевушка какой, — таки совершенно ничего! Как же она живет, горемычная!

И, проговоря это, она вошла в хату. Больная уже проснулась и хотела подняться с постели, чтобы достать воды. Лукия подала ей простывшей воды, уложила ее в постель и в потемках села на полу около ее постели. Больная заговорила:

— С меня как рукою сняло. Если бы не ты, то я не знаю, что бы со мной и было. Благодарю тебя, пускай Бог тебе заплатит.

Лукия молча вздохнула.

— Чего ты так тяжело вздыхаешь?

— Так, — отвечала Лукия.

— Может быть, ты тоже нездужаешь?

— Нет, слава Богу, здорова!

— Ах ты, моя бесталаннице! — сказала больная с чувством. — Я и забыла, при моей немощи, про твое тяжелое бесталанье! Ну, скажи ж мени, моя горлыце, живо ли оно, здорово ли оно, моя рыбочко?

— Слава Богу, здорово.

— Как же его зовут, моя галочка?

— Марком, — неохотно ответила Лукия.

— О горе мое, тяжелое горе! — помолчав, заговорила больная снова. — Что же мы с тобою будем вечерять? Ведь у меня ничего нету.

— У меня паляныця есть.

— У тебя... у тебя... да у меня ничего нету.

— Даст Бог, и у тебя будет.

— А где же мы свитла возьмемо? — через минуту проговорила больная.

— Сегодня и так повечеряем. — И она ощупью нашла мешок с хлебом, подала кусок больной и себе другой отломилась. Поужинавши, чем Бог послал, Лукия наведальась к лошади и, возвратясь в хату, помолилась Богу и легла на полу спать. Словоохотная стару[шка] пробовала с нею заговаривать, но Лукия, пожелавши ей доброй ночи, вскоре заснула или притворилась заснувшею.

На другой день поутру Лукия, возвратясь от заутредни, нашла свою пациентку на ногах. Она уже затопила печку и что-то приставила в горшке к огню. Увидя входящую Лукию, она быстро обратилась к ней и сказала:

— Добрыдень! Добрыдень, моя голубка! А я уже и печь затопила.

— Добрыдень вам! — сказала Лукия.

— А ты еще краше стала, как прежде была. Ей-богу, правда. Да у тебя и лошадь есть?

— Лошадь не моя, добрые люди позычылы.

— Добрые люди — спасыби им! Побудь ты, моя голубочко, недолго дома, а я сбегаю тоже к добрым людям, не добуду ли чего к обеду. Ведь ты знаешь, как я живу: где день, где ночь.

— Возьми у меня денег, за деньги скорее достанешь, нежели выпросишь.

— Правда! Правда твоя, голубко сыза. — И она взяла у нее *копу* грошами. — От тепер можна и на свежую рыбку рассчитывать, и на олию, и на все доброе. Хазяйнуй же, моя рыбка, я духом вернуся.

И она выбежала из хатки. Зазвонили к «Часам», хозяйка не возвращается в свою *господу*. Уже на шестый и на девятый звонят, ее все нету. Лукия хотела замкнуть хатку и идти в церковь. Но, горе, и засунуть нечем, не то чтобы замкнуть. Делать нечего, нужно дожидаться, хату нельзя так оставить. Хоть, правду сказать, вору там совершенно нечего было делать. Наконец, далеко уже за полдень, пришла и хозяйка. Правда, она принесла, кроме съестных припасов, четыре свечи и даже кой-что из посуды, как-то: две ложки и что-то вроде черепка. И несмотря на все эти покупки, и сама еще была навеселе. Бедняжка таки не утерпела, забежала к своей щирой приятельке-шинкарке.

— Вот тебе, моя голубка сыза, — сказала она скороговоркою, — вот тебе и все наше господарство. Теперь заходимся варить обедать.

— Вары вже ты без мене, — сказала Лукия, улыгнувшись. — Вары, а я пойду до церкви.

— Разве уже дзвонили?

— Скоро задзвонять.

И действительно, вскоре стали благовестить к павечерне. Лукия оделась и ушла в церковь, хозяйка осталась одна и принялась за стряпню, тихо припевая:

Упылася я,
Не за ваши я —
В мене курка неслася,
Я за яйца выпылася.

Не знаю, как назвать подобные явления в семье человечества: жалкими или счастливыми. Я думаю, скорее счастливыми, потому что они на всякое житейское горе почти смеются, и это, не думайте, чтоб было от недостатка того, что мы называем чувством. Совсем нет. Они чувствуют по-своему. Вот хоть, например, и эта бедная поющая старушонка. Бог ее знает, быть может, песня эта у нее выражает самый злой сарказм, а может быть, и самую чувствительную элегию. Или она готова рассказать вам свое грустное похождение в Казань и обратно с непритворным смехом, а на чужое полугоре готова зарыдать и сию же минуту утереть слезы, как ни в чем не бывало.

По-моему, счастливы подобные натуры.

Когда Лукия пришла из церкви, у ней уже готов был смиренный ужин. Вместо стола накрыла свою пустую *бодню*, поставила на нее зажженную свечу, поставила свежую рыбу и поставила четверточку водки.

От водки и рыбы Лукия отказалась по той причине, что она говеет.

— Не хочеш, то як хочеш, моя голубко сыза, а я на старости выпью.

— Выпый на здоровья.

После вечери они долго еще просидели — Лукия за работою, а хозяйка за рассказами да расспросами. Лукия шила своему сыну к празднику обнову — жупанок из красной китайки и белую рубашечку с мережаным комиром.

— Так ты его с тех пор и не видала, голубко сыза?

— Ни.

— Его недавно вывели из нашего села у какое-то другое село на квартиру. И что же ты думаешь? Найшлася така дура, что и туда за ним пошла. Может быть, знала Одарку *Норивну*, так вот она сама. Та й лыхо ж он с нею здесь и выделявал! Да и то правда, с одной ли ею!

При этом рассказе Лукия то бледнела, то краснела. Бедная женщина, неужели злость или ревность прокрадывается в твою смиренную душу? Забудь его, не стоит он твоего воспоминанья.

Так или почти так провожали они вечера в продолжение недели. Отгвервшись, Лукия заложила лошадку, простилася с хозяйкою и выехала за село. В поле снегу уже почти не было, оставался кой-где по дороге, и то почерневший. Кое-как дотащилася она до Ромоданового шляху, а там оставила свои санишки, а лошадь повела за повод на хутор.

В сели довго говорылы
Дечого багато,
Та не чулы вже тых речей
Ни батько, ни маты.

Уланы же, когда узнали о полюбовнице своего командира, то, глядя на нее, идущую из церкви, только улыбались и усы крутили.

Сердобольные кумушки-соседушки, когда узнали, что она еще у московки квартировала, тогда и рукой махнули.

Лукия, возвратясь на хутор, не могла налюбоваться на своего Марочка. Она еще никогда на целую неделю с ним не разлучалась. В радости хотела было и сшитые ею обновы на него одеть, но поудержалась. Старики за радость ей объявили, что, когда она уехала говеть, в тот самый день приезжал к ним улан-охотник, брал Марка на руки, целовал его, любовался им и обещал к празднику такое ему подарить, что мы все здывуемся.

Лукия даже не улыбнулась, чем старики были недовольны. И когда она вышла из хаты, то Марта, лаская Марка, проговорила:

— Да ей-то что до тебя, моя дытыно! Ты для нее чужой, то ей и *байдуже*.

— Ну, ты вже пойдешь прибирать, — проворчал Яким, надел шапку и пошел на двор.

До праздника не посещал их улан-охотник по случаю распутицы, зато на праздники не проходило дня, чтобы он не посетил хутора и каждый раз не говорил, что почта не пришла еще из Петербурга, должно быть, по случаю распутицы. Случалось иногда, он заставал Лукию наедине, и тут меры не было его клятвам, что он ее полюбил пуще прежнего. Она уже на него почти не сердилась.

Подлый ты, лукавый человек! Чего ты от нее хочешь? Ужели для мгновенного скотского наслаждения ты возмущаешь ее едва успокоенное сердце?

Бедная ты, слабая ты женщина! Ты опять готова слушать его хитрые дьявольские речи. Ты опять готова впутаться в его ядовитую паутину. Ты готова забыть свое собственное прошедшее горе, горе отца и матери и даже их могилы!

Она и забыла бы (дьявол же искусил святого), она опять упала бы в бездну, и, может быть, упала б невовратно, но, к счастью ее, уланам на Фоминой неделе назначен поход в другую губернию. И это только обстоятельство спасло ее.

Каких усилий! какого тяжкого труда ей стоило перелоо мить себя. И только одна благородная, возвышенная любовь матери спасла тебя от разверзавшейся в другой раз перед тобою пропасти. Без высокой любви своей к детищу пошла бы ты за эскадроном, как ходят тысячи тебе подобных. Сначала твой мылый-чорнобрывый остриг бы тебя и одел мальчиком (как сердечную Оксану), чтобы скрыть твой пол от товарищей, а через месяц он перестал бы тебя и скрывать, а на другой — играла бы тобою пьяная молодежь на бивуаках. На третий — ты бы для них устарела и опротивела, потому что ты опять забеременела, и возили б тебя вместе с дорогими собаками в телеге, потому что от тебя отвязаться нельзя, а тебе приютиться негде, кроме уланского обоза. И вот ты родила ночью под телегою. И только одна безмолвная свидетельница, луна святая, твоих физических страданий, а милосердый Бог один утешитель и успокоитель твоей сердечной горести. Ты успокоилась немного, отерла слезы, прислушиваешься, — кругом все тихо, только едва слышно издали фырканье коней да вблизи чирикание кузнечика. Младенец твой молчит. Ты едва поднялася на ноги, берешь его и крадешься тихонько в степь из обоза, и, вышедши на дорогу, ты снова с нее своротила, потому что ты дороги боишься. Ты опять в степи, и уже далеко от дороги и обоза, кладешь свое дитя на душистую траву, и, как волчица роет нору для своих будущих волчат, так ты, исступленная, роешь могилу для своего детища. Остановися! Оно плачет, но ты не слышишь, тебе чудится вой волков в степи. Ямка готова, ты судорожно схватываешь дитя свое, бросаешь в яму, и у тебя не достало духу покрыть его землею, ты как сумасшедшая бежишь в степь. О, какое благоденствие было б теперь для тебя помешательство! Но ты в изнеможении [падаешь?] в траву и вскоре, как после страшного сна, пробуждаешься, и пробуждаешься на горе. Ты смутно, но все вспомнила и от изнеможения не можешь встать на ноги, силишься, силишься, и все напрасно. Так тебя и рассвет, и утро застает. Так тебя и полдневное [солнце] печет. Смерть близится к тебе. Но смерть грешников люта. Вечер освежает тебя, и ты, собравши остаток силы, ползешь в траве и, на свое горькое горе, выползаешь на дорогу. Тебя, полуживую, подняли чумаки и привезли в село, сдали добрым людям на руки, и ты медленно оживаешь. Выздоровливаешь. И полунагая отправляешься в корчму. Ты припомнила: когда тебя уланы вином поили, тебе было весело и ты забывалась. Но кто теперь тебе, нищей, подурневшей, вина даст? Ты у жида в корчме нанялася носить воду за четвертку вина. Но, увы! Вино не помогло, а злее еще напомнило тебе, что ты детоубийца! И разгоряченное воображение твое представляет бесконечный ряд страданий. «Что мне делать?» — ты в исступлении кричишь, а дьявол шепчет тебе на ухо: «Утопись!» И ты, послушная сатане, бежишь, быть может, к твоей родной Суде и топишься. Косари тебе помешали. Ты рассказала им свое преступление. Тебя в сельскую расправу, потом в тюрьму, потом в село твое родное да, не снимая кандалов, и на кобылу. А с кобылы прямехонько в Сибирь.

Могло случиться и иначе. Ты могла бы и подружиться с добрыми уланами — и попутешествовала б себе за их эскадронами во всякую погоду, как однородная мать Энея (у Котляревского):

Боса,

Задрипана, простоволоса...

И часто, часто бедная богиня Пафоса —

В шинели сирий щеголяла,
Манишки офицерам прала,
Горилку з перцем продавала и т. [д.].

Так, может быть, и тебе бы пришлось коротать свою поруганную, грешную, безраскаянную жизнь. Но ты спасена; ты ангелом прекрасным, ты своим сыном спасена. И будущность твоя хотя и горькая, печальная, но не преступная и безотрадная.

В понедельник на Фоминой неделе старик со старухой поехали в село родителей поминать, Лукия и за своих дала им на часточку.

— От что, Якиме, — сказала Марта, — запишем и ее отца и мать в свою *граматку*, та пускай так укупит и поминают, ведь она у нас как наша дочь родная.

— А что ж, и хорошо. Запишем.

И Лукия, простясь со стариками, засунула изнутри двери, вошла в хату, остановилась над колыбелью, долго смотрела на спящего Марка и, наконец, проговорила:

— Господы милосердый, и укрипы, и спасы мене! Где я на всем свете найду таких людей, которые б меня дочерью звали и отца моего и мать мою в свою *граматку* записали?

И она тихо заплакала и стала молиться. В это время проснулся Марко и, протягивая к ней ручонки из колыбели, пролепетал к ней: «*Мамо!*» Она, как бы испуганная, обратилась к нему. Взяла его на руки и, цалуя его, залилася слезами, едва выговаривая:

— Сыну мий! Сыну, моя ты дытыно!

А Марко, как бы понимая ее слова, охватил пухлыми ручонками ее прекрасную шею и лепетал:

— Мамо! Мамо!

Придя в себя, она стала на колени перед образами, перекрестилась, потом взяла Марка за ручонку, сложила его розовые пальчики и начала учить его креститься, говоря и плача:

— Молюся, сыну, молюсь, моя дытыно, молюся, ангеле Божий, за мене, за мене, грешницу, молюся!

До обеда Лукия утешалась своим сыном в хате, а после обеда укутала его и пошла в сад рястувать. Погулявши в саду и нарвавши рясту, она возвращалась в хату и уже было взялась за ручку у дверей, вдруг слышит — ее зовут. Она оглянулася и вздрогнула: за воротами стоял ее возлюбленный. Она хотела скрыться в хату, но он снова позвал ее.

— Да отвори ворота, мне не хочется с коня слазить. Лукия как бы невольно подошла к воротам, но не отворила их.

— Что же ты стоишь? Или не отворишь, выйди сюда, я тебя поцелую.

Лукия не вышла.

- Что же, на тебя столбняк, что ли, напал? Готова ли ты или опять раздумала?
- Раздумала.
- Фу ты, несносная! Полно дурачиться, одевайся скорее, за хутором тебя телега дожидает.
- Пускай себе дожидает.
- Да не беси же ты меня! Скажи, пойдешь ли ты или нет?
- Ни.
- Проклятая! Да вить я без тебя жить не могу!
- То не живи!
- То не живи? Тварь ты бездушная! Что же мне — давиться, что ли, из-за тебя?
- Давись.
- Шутишь ты, что ли, со мною? Скажи, последний раз я тебя спрашиваю, пойдешь ты или нет?
- Нет, не пойду.
- Дура же ты, дура. А я тебе добра желал, хотел тебя счастливою сделать.

Лукия грустно посмотрела на него. Он продолжал:

- Хотел в Ромне перевенчаться с тобою.

Лукия еще раз взглянула, отвортилася и хотела было идти в хату.

- Остановися, одно слово! — Она остановилась.
- Подойди ближе!
- Ну, говори, что ты там такое скажешь? — И она подошла к воротам.
- Ну, скажи, глупая, разве тебе лучше мужичкой быть?
- Лучше!
- Да пойми ты меня! Ведь ты будешь офицерша!
- Не хочу я быть офицершей. Я мать офицерского сына, с меня довольно!

И она снова отвортилася.

— Вот же тебе, упрямая хохлячка. — И он ее ударил по голове нагайкой, проговоря: «Проклятая!» Поворотя коня, он ускакал в поле. Лукия посмотрела ему вслед, спустила дитя на землю и тихо пошла с ним в хату. Но в хату не могла войти. Села на призьбе, бледная и изнеможенная, выпустила из рук Марочка и лицо закрыла руками. Долго она сидела в таком положении, а Марочко между тем уселся у ног ее и уже увядший ряст рассыпал вокруг себя.

Лукия, наконец, проговорила шепотом:

— Офицерша... Бреше... За что же он меня ударил? Что я ему сделала? Сына *привела*.

И она горько, горько заплакала. Марочко, глядя на нее, и себе заплакал. Она взяла его на руки, поцеловала, встала и молча пошла в хату.

Старики, возвратяся ввечеру из села, рассказывали ей, смеяся, как уланы выходили из села и как одна, уже *тяжкая*, дивчина пошла за повозкою их знакомого охотника.

— Як бо ии зовуть? — заговорила Марта. — Постой... постой... вот же и забыла... те, те, вспомнила — Одаркою!

Лукия вздрогнула.

— Только из какого-то другого села, а не буртыанская.

— Что же это нашего знакомого не видно было меж уланами?

— Да, не видно было. А я нарочно его выглядала, да нет, не видно было.

— Должно быть, вперед уехал.

— Должно быть.

Мирно и безмятежно текли часы, дни, месяцы и годы на благодатном хуторе Якима. Коморы его начинялися всяким добром, волю и коровы его и всякая другая *худоба* множилася и тучнела, чумаки его каждое Божие лето возвращалися с дороги с великою *лихвою*, пчелы его по трижды в одно лето роилися, так что одного меду продавал он ежегодно рублей сот на пять, если не больше, не говоря уже про воск. Садовой овощи, правда, он не продавал, а то и тут бы не одну лупнул сотнягу. «Пускай, — говорит, — добрые люди *поживут*, спасыби скажут». Словом, к Якиму на хутор со всех сторон добро лилося, как будто сама фортуна коловратная на его хуторе поселилася — в лице Лукии и Марка. И то правду сказать, что Лукия была хозяйка невсыпущая и распорядительная. «И Бог его знает, где это она всему так научилася, — бывало, глядя на ее дела, говорит старая Марта. — Вот тебе и московка. Поди ты с нею! Благодать Божия, да и только. Верно, разумного отца дытына». Старикам оставалося только смотреть на нее и молиться Богу. Они таки и не забывали Бога. Марта ежегодно ходила в Киев на поклонение святым угодникам печерским. А Яким, хотя и не ходил, зато дома в продолжение года молебствовал: то крыныцю в саду посвятит, то пасику посвятит, то так пригласит отца Нила помоллебствовать о здравии и долгоденствии. А сам все себе сидит в пасике, рои снимает да Псалтырь читает.

Так-то счастливо проходили дни, месяцы и годы на хуторе. А Марку между тем кончался седьмой годочек. И что же это за дитя выростало! Прекрасное, тихое, послушное, несмотря на то, что все его чуть на руках не носили. Особенно Лукия. Бывало, в воскресенье, когда старики уедут в село до церкви, оденет его в жупанок, в красные сапожки и сывую крымских смушек шапочку, поставит его перед собою и любится на него, как на малеванного. А между тем она ему и виду никогда не показала, что она ему мать. Для чего это она делала, Бог ее знает. Может быть, она боялася старых, а может быть, и так.

Старики часто поговаривали, что пора Марка в школу отдать, но все дожидали, пока ему исполнится семь лет.

И вот ему исполнилося семь лет. Это случилось как раз на *Зеленых святках*, в воскресенье. Из церкви прямо на хутор привезли отца Нила, и отца диякона, и весь причет церковный. После

молебствия и водоосвящения в саду вернулись во облачении в хату. А окропивши святою водою *оселю*, сины и коморы, вернулись снова в хату. Тогда отец Нил взял Марка за руку и, поставив его на колени перед святыми образами, а сам раскрыв Псалтырь и перекрестясь трижды, прочитал псалом *«Боже, в помощь мою вонмиши»*. По прочтении псалма, сложив с себя ризы, сел за стол и спросил у Якима букварь. Марта достала из скрыни букварь (он у нее хранился, потому что она его принесла из Киева) и подала Яким, а Яким уже отцу Нилу.

«Приступи ко мне, чадо мое», — сказал он Марку. Марко подошел. «Говори за мною». — И Марко робко повторял: «Аз, буки, веди» и т. д. По прочтении азбуки отец Нил закрыл букварь и сказал:

— Корень учения горек, плоды же его сладки суть. Сегодня пока довольно, а на будущее время и вящше потрудимся. А теперь пока, отдавши Богово Богови, отдаймо и кесарево кесареви.

Яким, как сам тоже человек грамотный, тотчас смекнул, к чему говорит отец Нил из Писания. Моргнул Марте и Лукии, а сам побежал в комору, сказавши: «З-за позволения вашего, прошу, батюшка, садовитесь за стол». Через минуту стол был уставлен яствами и напоями, разными квасами фруктовыми и наливками, а кроме всего этого, Яким посередине стола поставил хитро сделанный стеклянный бочонок с выстоялкою. Отец Нил, прочитавши *«Отче наш»* и *«Ядят убозии и насытятся»*, поблагословил ястие и питье сие и сел за стол. Его примеру, перекрестясь, последовали и другие (окроме Марты и Лукии).

И молча начали воздавать кесарево кесареви. После обеда отец Нил и весь причет церковный вышли в сад и сели на траве под старую грушею около крыныцы, и отец Нил отверз уста своя, в притчах глаголя. И чего он тут не глаголал? И о Симеоне Столпнике, и о Марии Египтяныне, и о Страшном суде. И только было начал *«Отолсте сердце их»*, а тут явилася Лукия с ковром, а Марта с стеклянным бочоночком, только уже налитым не выстоялкою, а сливянкою. Отец Нил, увидя их, воскликнул:

— Хвалите, отроци, Господа. И господиню, — прибавил он, ласково улыбаясь Марте.

Лукия между тем разостлала ковер, а Марта поставила на него барыльце с сливянкою и, поклонившись, просила: «Батюшко, благословить». Батюшка, возвыся глас свой и осеняя в барыло крестным знамением, возгласил: «Изыди из тебе душе нечистый, и вселися в тебе сила Христова и яви чудеса мирови».

В это время старый Яким подошел к ним, держа в руках на малеванной тарелке свежие большие яблоки.

Отец Нил, увидя яблоки, сказал:

— Благ муж, щедря и дая. Только скажите вы мне, Бога ради, Якиме, каким образом вы их сохранили?

— А вот как покушаете, то тогда и скажу, — говорил Яким, ставя яблоки на ковер.

— Хорошо, и покушаемо. Да где наш новый школяр? Пускай бы он нас хоть сливянкою попотчевал, — говорил отец Нил, протягивая руку к яблоку. В минуту Лукия привела в сад и Марка.

— А ну-ка, новый школяру, — говорил Яким, смеясь, — попотчуй батюшку сливянкою, а воны тебе когда-нибудь березовую кашею попотчуют.

— Корень учения горек, — весьма кстати проговорил отец Нил.

Лукия взяла бочонок, а Марко рюмку и стали потчевать гостей. Когда поднес Марко рюмку отцу диякону, то тот, принимая рюмку, проговорил:

— Не упивайтесь вином, в нем же есть блуд.

— Та блуд-таки, блуд, — скороговоркою сказала Марта, — а вы, отче Елисею, выпейте еще одну рюмочку нашей сльвяночки.

Что отец Елисей и исполнил.

Сидели они под грушею до самого вечера и слушали отца Нила. А отец Нил договорился до того, что начал выговаривать вместо «пророк Давид» «пророк Демид». А потом все духовенство запело хором «О всепетую Мати», потом «Богом избранную Мати, Деву Отроковицу», а потом «О горе мне, грешнику сущу». Тут уже и Яким не утерпел, подтянултаки тихонько басом.

— Эх, если бы тимпан и органы или хоч гусли доброгласны! — воскликнул отец Нил. — О, тут бы мы воскликнули Господеви. А что, не послать ли нам за гуслиами?

— Послать! Послать! — закричали все в один голос.

— А послать, так и послать, — говорил Яким. — Лукие, скажи Сидорови, нехай коней запрягае, я сам поеду. А тым часом, отче Ниле, прошу до господы. И вы, отец Елисей, и вы, и вы, — сказал он, обращаясь к причетникам. — На дворе и темно, и холодно.

И компания отправилась в хату, а что там было в хате, Бог его знает. Знаю только, что Яким за гуслиами не поехал.

Клепальное воскресенье продлилося до вторника. Во вторник, уже *поснидавши*, гости поехали домой, а Яким и Марта, провожая их, весь [час?] жалкувалы, что они не остались еще на *годыночку*, т. е. на два дни.

В следующее воскресенье рано поутру одели Марка в самый лучший его жупан, засунули ему граматку за пазуху, посадили его на повозку и повезли в село, якобы до церкви. Обманули бедного Марка: они повезли его в школу.

Лукия хотя и не плакала при расставаньи с сыном, но ей все-таки жаль было расставаться с ним.

Грустно, неохотно расставалася Лукия с своим сыном, с своею единою утехой, но она не останавливала, не отговаривала, как это делала старая Марта. Марта сквозь слезы выговаривала Якиму:

— Ну, скажи! скажи ты мне, где ты видел, чтоб из школы добро вышло? Так, выйдет какой-нибудь пьянычка, а может, еще и вор, Боже обороны; от только дытыну испортят.

— Замолчи ты, пока я не рассердился, — говорил Яким, надевая на Марка сверх жупанка новую свитку.

— Ну куда ты его кутаешь?

— Куда? В дорогу, ведь он там останется, так не возыть же за ным свыту.

Так снаряжали Марка в далекую дорогу. Лукия молча смотрела на все это и, слушая доводы Марты, почти соглашалась с нею. Но когда Яким, помолясь Богу и выходя с хаты, сказал: «Учение свет, а неучение тьма», — то Лукия вполне с ним согласилась, говоря:

— По крайней мере, выучится хоть Богу помолиться.

И, проводя их за ворота, долго стояла она и смотрела вслед удалявшейся повозке. А когда повозка скрылась, она перекрестила воздух в ту сторону и, возвращался в хату, говорила:

— Пошли тебе, Господи, благодать свою святую.

Вечеру Марта рассказывала Лукии про Марка, что он, бедный, плакал, когда прощался с ними, и что он будет жить у отца Нила, а в школу только учиться будет ходить, и что она нарочно заходила в школу, чтобы посмотреть, где он будет учиться.

— Пустка! Совершенная пустка! — говорила она. — Так что страшно одной зайти было. А школяры такие желтые, бледные, как будто с креста сняты, сердечные. А под лавою все розги, все розги, да такие колючие! Бог их знает, где они их и берут. Настоящая *шипшина*. А на стене, около самого образа, тройчатка, настоящая *дротянка*, да, я думаю, она таки из дроту и сплетена. А дьяк такой сердитый! Аж страшно смотреть. Я, правда, дала ему копу, знаешь, чтобы он не очень силовал Марка, хоть на первые дни. Надо будет еще чего-нибудь послать ему; я думаю, хоть полотна на штаны та на сорочку, а то замучит бедную дытыну. Чи не понесла б ты ему, Лукие, хоть даже завтра, а то я боюсь: убие, занивечить сердечного Марочка.

— Добре. Я понесу, — сказала Лукия. — Та и сама посмотрю на ту школу.

— Посмотришь, посмотришь. Та вот еще что: *учыны* к завтраму паляныци. Я думаю и паляныць зо дви послать Маркови, а то воно, бедное, хоть и обедает у попа, да какой там у них обед. Я думаю, всегда голодное.

Назавтра Лукия отправилась в село с паляныцями и со свертком полотна. Она не зашла к отцу Нилу, а прямо прошла в школу. Дьяк встретил ее совсем не сердитый, и школа не была похожа на пустку. Хата, как хата. Только что школяры сидят да читают, кто во что горазд. И Марко ее тут же меж школярами сидит и тоже читает. Она когда увидела его читающего, то чуть было не заплакала. «Как оно, бедное, скоро научилося», — подумала она и посмотрела под лаву. Под лавою ни одной розги не видно было. Посмотрела на образа — около образов тройчатки тоже не видать. Она, отдавши дьякови посильное приношение, спросила его, можно ли ей повидаться с таким-то Марком.

— Можна, можна. Чому не можна? — говорил дьяк с важностию и, подойдя к новобранцу (как он называл Марка), сказал ему:

— Ты, Марку, сегодня учился хорошо, а посему и гулять остаток дня можешь. Иди с миром домой.

Марко сложил азбучку, положил ее за пазуху и встал со скамейки, обернулся, увидел свою наймичку и заплакал. Лукия тоже чуть не заплакала. Она взяла его за руку и, простясь с дьяком, вышла из школы. Вышедши из школы, она утерла слезы у Марка рукавом своим, потом сама заплакала, и пошли они тихонько к хате отца Нила.

Такие приношения делала она дьяку и Марку каждую неделю. А в воскресенье Марта само собою привозила дьячку и копу грошей, или меду, или кусок сала, или что-нибудь тому

подобное.

Месяца через два с Божиею помощью Марко одолел букварь до самого «*Иже хочет спастися*». По обычаю древнему нужно бы кашу варить, о чем дано было знать заблаговременно на хутор. Варивши кашу, Марта положила в нее 6 пятаков, а Лукия, когда Марта отвернулася, бросила в кашу гривенник.

Когда каша была готова, Лукия понесла ее в село к отцу Нилу. А от отца Нила Марко понес ее в школу в ручнике, вышитом Лукиею. Принесши кашу в школу, он поставил ее доли. Ручник преподнес учителю. А до каши просил товарищей. Товарищи, разумеется, не заставили повторять просьбы, уселись вокруг горшка. А Марко взял тройчатку, стал над ними, и пошла потеха. Марко немилосердо бил всякого, кто хоть крошку ронял дорогой каши на пол.

Кончивши кашу, Марко тройчаткою погнал товарищей *до воды*, а пригнавши от воды, принялись громадою горшок бить. Разбили горшок, и учитель распустил их всех по домам в знак торжественного сего события.

После описанной церемонии Марко был отпущен на родину, т. е. на хутор, отдохнуть недели две после *граматки*. Но вместо отдыха он встретил новые, непредвиденные им труда. Яким, в присутствии Марты и Лукии, заставлял его прочитывать каждый день всю граматку, от доски до доски, и даже «*Иже хочет спастися*».

— Да для чего это уже «*Иже хочет спастися*» ты заставляешь его читать? — говорила Марта.
— Он его не учился, то и читать не нужно.

— Ты, Марто, человек неграмотный, то и не мешалась бы не в свое дело, — говорил обыкновенно Яким. — Мы-то знаем, что делаем.

Марко под конец второй недели готов был бежать из родительского дома в школу. В школе ожидали его ровесники, товарищи, а дома кто ему товарищ? Правда, оно и в школе не тепло, но все-таки лучше, нежели дома.

По прошествии двух недель снабдили Марка всяким добром удобосъедаемым и вдобавок Часословом, принесенным Мартою в то лето из Киева, и отправили в школу.

В Великом посту, когда говели Яким и Марта, то Марко уже посередине церкви читал большое повечерие к неопisanному восторгу стариков. Выходя из церкви, Яким погладил по голове Марка и дал ему гривну меди на бублики, сказавши:

— Учись, учися, Марку. Науку не носят за плечима.

А Марта дома Лукии чудеса про Марка рассказывала. Она говорила, что дьяк просто дурень в сравнении с Марком, что Марко вскоре и самого отца Нила за пояс заткнет. Разве только что на гусях не будет играть, да это ему и не нужно.

— Да что же это он, да как же это он там читает? — обыкновенно спрашивала Лукия.

— А так читает, что хоть бы и самому дьяку, так не стыдно. Да, я думаю, дьяк и заставлял читать все такое, чего сам прочитать не в силах. Я думаю, что так.

Лукия с нетерпением ожидала шестой недели поста, в которую собиралась говеть. Наконец, дождалась и, наконец, услышала читающего Марка, и уже не одну «*Нескверную, неблазную*», а и «*Полуношницу*», и даже «*Часы*». Велика была ее сердечная радость, когда она, [выходя] из

церкви, слышала такие слова:

— Какой хороший школяр! Дак он прекрасно читает, точно пташка какая щебечет. Наделил же Господь добрых людей такую дытыною.

Такие [и] им подобные слова слушала Лукия всякий раз при выходе из церкви. Зато Марко и возмездие получал не малое. Он в продолжение недели всю школу кормил бубликами.

Марко быстро двигался на поприще образования, так что к концу другого года, к удивлению всех, в особенности учителя, он прошел всю Псалтырь, даже с молитвами. А чтением кафизм в церкви приобрел общую известность и похвалу всего села; так что уже на что Денис Посяда, который никого не хвалил, и тот, бывало, выходя из церкви, скажет:

— Ничого сказать, славный школяр. Прекрасно читает.

Долго толковали между собою отец Нил с Якимом, учить ли Марка писать или так и кончить на Псалтыре. С домашними Яким не входил в рассуждение по поводу этого предмета. Он знал наверное, что в Марте первой он встретил бы оппозицию, а потому и молчал благоразумно. А по зрелом рассуждении с отцом Нилом решил, чтобы Марка учить писать.

Хитрость книжная, можно сказать, далася нашему Марку. Да и хитрость скорописца не отвернулася от него. В полгода с небольшим он постиг все тайны каллиграфии и так, бывало, выведет букву ферт, что сам учитель только плечами двинет и больше ничего. Но кого он больше всех восхищал своею тростию скорописца, так это старого Якима. Он ему при всяком удобном случае писал послание, надписывая на конверте, что такой-то и такой губернии, такого-то и такого повета, на благополучный хутор такой-то, жителю Якиму Миронову сыну такому-то. Старик был в восторге, получа такое письмо от своего сына из школы.

— Вот оно что значит просвещенный человек, — говорил он, бывало, Марте и Лукии, держа письмо в руках, которого он, конечно, не понимал, потому что читал только печатное. — Я вот и не был в селе, а знаю, что там творится. А вы, бабы, ну, скажите, что вы знаете? Вот то-то и есть! А я так знаю. Вчера отец Нил на гуслах играл *«Исусе мой прелюбезный»*, а матушка Якилына с прочими мирносыцями ему подтягивали. Вот что.

— Ну, та ты из своего письма наговоришь, что и груши на верби растут, — говорила обыкновенно Марта.

— Что ж, когда не веришь, то на, возьми прочитай. — И он ей подавал письмо.

— Читай уже ты один, а мы и так себе останемся.

И Яким, бывало, через пятое-десятое по складам прочитает им:

«Любезнейшии и драгоценнейшии родители. Я, слава Всевышнему, жив и здоров, чего и вам желаю. Единородный сын ваш М. Г.».

— Только то и было? — спрашивала Марта.

— А тебе чего еще хочется? — отвечал, смеясь, Яким.

— А как же там батюшка с матушкою? Говорил ты, что в письме написано.

— А дзус вам знать, цокотухи. — И при этом он клал письмо за образ.

Смеючися, пролетали годы над хутором. Марко вырастал, делался юношею, и каким юношею? Просто чудо! Бывало, сельские красавицы не налюбуются на Марка Гирла. Школу он оставил вот по какому случаю. Однажды Марта, возвратясь из Киева, занемогла; да, прохворавши семь недель, и Богу душу отдала. Долго плакал старый Яким и, плачучи, поселился, наконец, в своей пасици. Надо было для утехи старика взять из школы Марка. Лукия так и сделала. «Пускай себе, — думала она, — чего не доучилось в школе, доучится дома. А старику, бедному, все-таки будет розвага. А [то] и он умрет, бедный, с тоски та с горя».

И в воскресенье, рассчитавшись с дьячком и отцом Нилом, привезла Марка на хутор. Обрадовался, ожил Яким, увидя перед собою существо, которое одно только и привязывало его к жизни.

До прибытия Марка из школы старый Яким был похож на Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны, с тою разницею, что в доме и вообще в хозяйстве не было заметно того печального запустения, какое было видно в доме Афанасия Ивановича после смерти Пульхерии Ивановны. Потому что у него осталась Лукия.

Бывало, сидит бедный старик в пасике несколько часов сряду, головы не подымая, только вздохнет и утрет машинально слезу, скатившуюся на седые усы. Вздохнет опять и опять заплачет. И так просиживал он до тех пор, пока Лукия приходила звать его обедать. Тогда молча вставал он и шел за Лукией в хату. Она заводила с ним речь о хозяйстве, о чумаках, о пчелах, о яблуках. Но он отвечал только «да» или «нет». Однажды она ему сказала:

— Вы бы взяли хоть Псалтырь прочитали за ее грешную душу, и вам бы легче стало.

Яким молча с полки достал Псалтырь и пошел в сад (Марта была похоронена в саду между старыми липами), остановился над могилою Марты, раскрыл книгу, перекрестился и начал читать «Блажен муж». Когда же дочитался до «Славы» и начал читать «Со святыми упокой», то не мог проговорить «рабу твою Марту». Залился старик слезами, и книга из рук упала на могилу.

Так-то время и уединение связывают простосердечных людей друг с другом.

Благословенно и время, и уединение, простосердечные люди.

Яким с каждым днем оживал более и более. Лукия угождала и ухаживала за ним, как за малым ребенком. А Марко, несмотря на его юность (и, как Гоголь говорит, юркость), не отставал от него ни на минуту. Он уже знал, что он не родной его сын, и в глубине молодой души своей чувствовал все благо, сделанное ему чужими добрыми людьми. Он иногда задумывался и спрашивал себя: «Кто же мой отец? И кто моя мать?» — и, разумеется, оставался без ответа.

Каждую субботу с утра до обеда читал он Псалтырь над могилою Марты. А Яким, стоя около него, молился и плакал и, плачучи, шептал иногда:

— Кто же бы за твою душу теперь Псалтырь прочитал, если б мы его не отдавали в школу? Читай, сыну! Читай, моя дытыно! Она с того света услышит и спасибо тебе скажет. Душа ее праведная по мытарствах теперь ходит. — И старик снова заливался слезами.

А между тем Марку пошел уже двадцатый год. Пора ему уже была и вечерницы посетить, посмотреть, что и там делается. Дождавшись осени, он это и сделал, и так удачно, что после первого посещения вечерниц, возвратясь домой, стал у Якима просить благословения на женитьбу.

— Вот тебе и на! — сказал Яким, выслушавши его. — Я думал, что он все еще школяр, а он уже во куда лезет! Рано, рано, сыну. Ты сначала погуляй, попарубкуй немного, почумакуй, привезы мени гостынець з Крыму або з Дону. А то — ну сам ты скажи, какая за тебя, безусого, выйде. Разве какая бессережная! А вот спросим у Лукии, — я думаю, и она скажет, что еще рано.

Спросили у Лукии, и она сказала, что рано.

Марко наш и нос повесил. А между тем ночевать стал ходить у клуню. В хате ему, видите, стало душно.

— Знаю я, чего тебе душно! — говорил, улыбаясь, старый Яким. А Лукия ничего не говорила, только по целым ночам молилась Богу, чтобы Бог сохранил его от всякого скверного дела, от всякого нечистого соблазна.

Однажды после обеда, когда Яким отдыхал, она вызвала Марка в другую хату и ласково спросила у него:

— Скажи мне, Марку, по истинной правде, кого ты полюбил? На ком ты думаешь жениться?

Марко расписал ей свою красавицу, как и все любовники расписывают. Что она и такая, и такая, и красавица, и раскрасавица, что лучше ее и во всем мире нет. Лукия с умилением слушала своего сына и сказала наконец:

— Верю, что краше ее во всем мире нет. А скажи ты мне, какого она роду? Кто отец ее и кто такая мать? Что они за люди и как они с людьми живут?

— Честного она и богатого роду!

— Богатства тебе не нужно, ты и сам, слава Богу, богатый. А скажи ты мне, любишь ли ты ее?

— Как свою душу! Как святого Бога на небесах!

— Ну, Марку, я тебе верю. Ты ее любишь, а когда любишь, то ты ей зла не сделаешь. Смотри, Марку! Сохрани тебя Матерь Господняя, если ты ее погубишь! Не будет тебе прощения ни от Бога, ни от добрых людей!

— Как же я погублю ее, скажи ты мне, когда я ее люблю?

— Как погубишь?.. Дай, Господи, чтобы ты и не знал, как вы нас губите. Как мы сами себя губим!

— Лукие, ты давно у нас живешь. Скажи мне, не знаешь ли ты, кто такая моя маты?

Лукия при этом неожиданном вопросе затрепетала и не могла ответить ни слова.

— Скажи мне! Скажи, ты, верно, знаешь?

Лукия едва ответила: «Не знаю!»

— Знаешь! Ей-богу, знаешь! Скажи мне, моя голубко, моя матинко! — И он схватил ее за руки.

— Марта, — отвечала Лукия тихо.

— Ни, не Марта, я знаю, что не Марта! Я знаю, что я байстрюк, подкидыш.

Лукия схватила его за руку, сказавши:

— Молчи! Кто-то идет! — И вышла быстро из хаты.

«Она, верно, знает», — подумал Марко и вышел вслед за нею.

Дождавшись весны, Яким поручил все хозяйство Лукии. А сам, по обещанию, поехал в Киев, взяв и Марка с собою.

Лукия не пропускала ни одного воскресенья, чтобы не побывать в селе. И после обеда всегда заходила к матушке и после обеда долго с нею беседовала наедине. Она расспрашивала попадью о своей будущей невестке и узнала, что она честного и хорошего роду и что про нее дурной славы не слыхать. Наконец, она через попадью и сама с нею познакомилась. И увидела, что сын и попадья говорят правду.

Через месяц Яким с Марком возвратились на хутор и навезли разных дорогих гостинцев своей *наймичке*. А для себя о привезли, кроме синего сукна и китайки, *Ефрема Сирина* и «Житие святых отец» за весь год.

Дни летние и длинные вечера осенние Марко читал святые книги, а Яким слушал и обновлялся духом. Он пришел в свое нормальное положение, подчас не прочь был послушать, как отец Нил играет на гусях и как отец дьякон поет «*Всякому городу нрав и права*». И прочее такое. Только всегда приговаривал:

— Ох, якбы теперь со мною была Марта! Дали б мы себе знать. — И после этого всегда старик задумывался, а часто и плакал, говоря:

— Сырота я сыроतोю! Так и в домовыну ляжу. Марко? Так что ж Марко! Звичайне, не чужий! Оженю его, непременно оженю после *Покровы*. А летом пускай сходит в дорогу та привезе мени з Крыму сыву шапку, таку сыву, как моя голова.

А Марко, прочитавши житие какого-нибудь святого, отправлялся в клюню ночевать, т. е. в село, к своей возлюбленной.

А Лукия, уложивши спать старого Якима, молилася до полуночи Богу, чтобы охранял Он ее сына от всякого зла.

Весною, снарядивши новые возы, новые *мережаные* ярма, притыки, лушни и занозы, Яким отправил своего Марка *чумаковать* на Дон за рыбою.

— Иди ж, мой сыну! — говорил он, — та везы свой *молодий* подарки. После *Покровы*, даст Бог, мы вас и *скрутымо*.

Марко с горем пополам отправился на Дон за рыбою.

А Лукия, взявши котомку на плечи, пошла в Киев помолиться святым угодникам о благополучном возвращении сына с *дороги*. Яким один остался на *господи*. Он, распорядившись весенними работами, вынул пчел из погреба, расставил их как следует по пасике, взял *Ефрема Сирина* и поселился на все лето в пасике.

А Лукия между тем пришла в Киев, стала у какой-то мещанки на квартире и, чтоб не платить ей денег за квартиру и за харч, взялася ей носить воду для домашнего обиходу. В полдень она носила воду из Днепра, а поутру и ввечеру ходила по церквам святым и пещерам. Отговевшись

и причастившись святых таин, она на сбереженные деньги купила небольшой образок святого гробокопателя Марка, колечко у Варвары-великомученицы и шапочку Ивана Многострадального. Уложивши все это в котомочку и простившись с своею хозяйкою, она возвращалась домой. Только не доходя уже Прилуки, именно в *Дубовому Гаи*, занемогла *пропасницею*. Кое-как доплелась она до *Ромна* и из *Ромен* должна была нанять подводу до хутора, потому что уже не в силах была идти. А она хотела зайти в *Густыню*, в то время только возобновлявшуюся. И не удалось ей, бедной.

Испугался старый Яким, когда ее увидел. «Исхудала, постарела, как будто с креста снятая, — говорил он. — Чи не послать нам за знахуркою?» — спрашивал ее Яким.

— Пошлить. Бо я страх нездужаю. — И Яким не послал, а сам поехал в село и привез знахурку. Знахурка лечила ее месяц, другой и не помогала.

Во времена самой нежной моей юности (мне было тогда» 13 лет) я чумаковал тогда с покойником отцом. Выезжали мы из *Гуляйполя*. Я сидел на возе и смотрел не на Новомиргород, лежащий в долине над *Тикичем*, а на степь, лежащую за Тикичем. Смотрел и думал (а что я тогда думал, то разгадает только один Бог). Вот мы взяли *соб*, перешли вброд *Тикич*, поднялись на гору. Смотрю — опять степь, степь широкая, беспредельная. Только чуть мреет влево что-то похожее на лесок. Я спрашиваю у отца, что это видно.

— Девятая рота, — отвечает он мне. Но для меня этого не довольно. Я думаю:

— Что это — 9-я рота?

Степь. И все степь.

Наконец мы остановились ночевать в *Дидовой балке*.

На другой день та же степь и те же детские думы.

— А вот и Елисавет! — сказал отец.

— Где? — спросил я.

— Вон на горе цыганские шатры белеют.

К половине дня мы приехали в *Грузовку*, а на другой день поутру уже в самый *Елисавет*.

Грустно мне! Печально мне вспоминать теперь мою молоо дость, мою юность, мое детство беззаботное! Грустно мне вспоминать теперь те степи широкие, беспредельные, которые я тогда видел и которых уже не увижу никогда.

Побывавши в Таганроге и Ростове, Марко с своими чумаками вышел в степь. И непочтовым шляхом прямувалы чумаки через *Орель* на *Старые Санжары*. В *Санжарах*, переправившись через *Ворсклу*, задали чумаки пир добрым людям.

Купили три цебры вина. Найняли троисту музыку. Та и понесли вино перед музыкантами. Кого встретят, пан ли это, мужик ли, все равно: «Стой, *пый горилку*». Музыка играет, а чумаки все до одного танцуют.

С таким-то торжеством прошел Марко через Санжары.

В *Белоцерковке* повторилось то же. А в *Миргороде*, хоть и не было переправы, чумаки таки

сделали свое.

«Хорол хоть и не велька ричка, а все-таки, — говорили они, — треба свято отбуты». — И отбулы свято. В Миргороде они взяли уже не четыре цебра вина, а бочку. И весь город *покотом* положили. А о музыкантах и танцах и говорить нечего.

Из *Миргорода* с Божью помощью вышли на *Ромодан*.

Вышедши на Ромодан и попасши волы, чумаки потянулись по *Ромодану* на *Ромен*.

Идуть соби чумаченьки
Та йдучи спивають.

Что же ты, Марку, что же ты не поешь с товарищами-чумаками?

А вот почему я не пою с товарищами-чумаками:

Покинул я дома молодую девушку. Что теперь сталося с нею?

Везу я ей с Дону парчи, аксамиту, всего дорогого.

А она, быть может, моя молодая, *вышла* за другого.

И чем ближе они подходили к корчме, от которой ему поворотить надо вправо, тем он грустнее становился.

«Что это мне эта наймичка не идет с ума?.. А може, вона скаже», — прибавлял он в раздумьи.

Минули *Лохвыцю*, прыйшли и до корчмы. Попрощался Марко с своими товарищами-чумаками как следует, *подякував их за науку* и поворотил себе на хутор с своими возами.

Путь невелик, всего, может быть, пять верст, но он остановился с своею *валкою* ночевать в поле. *Наймиты* себе ночуют в поле около волов и возов, а он побежал к своей возлюбленной.

Серце мое! доле моя!
Моя Катерино! —

сказал он ей, когда она вышла в *вышнык*. Он много говорил ей подобных речей, говорил потому, что не знал, что делается дома.

А дома делалося вот что.

Знахурка довела своими лекарствами бедную Лукию до того, что Яким просил отца Нила с причетом отправить над нею *маслосвятие*.

После этого духовного лекарства Лукии сделалося лучше. Она начала по крайней мере говорить. И первое слово, что она сказала, это был вопрос:

— Что, не пришел еще!

— Кто такой? — спросил Яким.

— Марко, — едва прошептала она.

К вечеру ей стало лучше, и она просила Якима постлать постель на полу. Когда перенесли ее на пол, то она показала знаком Якиму, чтобы он сел около нее. Яким сел. И она ему шепотом сказала:

— Я не дождуся его, умру. У мене есть гроши, отдасте ему. Вся плата, что я от вас брала, у мене спрятана в коморе, *на горыщи*, под соломяным *жолобом*. Отдайте ему, я для него их прятала. Та отдайте ему еще образок Марка святого гробокопателя, что я принесла из Киева. А *молодий* его, когда пойдут венчаться, отдайте перстень святой Варвары. А себе, мой тату, возьмий шапочку святого Ивана.

И, помолчавши, она сказала:

— Ох, мне становится трудно. Я не дождусь его, умру. А он должен быть близко. Я его вижу. — И, помолчав, спросила: — Еще далеко до света?

— Третьи петухи только что пропели, — ответил Яким.

— Дай-то мне, Господи, до утра дожить, хоть взглянуть на него. Он поутру приедет.

И в ту ночь, когда она исповедывалась Якиму, Марко целовал свою нареченную, стоя с нею под калиною, и говорил ей сладкие, задушевные, упоительные юношеские речи. Замолкал и долго молча смотрел на нее, и только цаловал ее прекрасные карые очи.

Пропели третьи петухи. Вскоре начала занимать заря.

— До завтра, мое сердце единое! — сказал Марко, целуя свою невесту.

— До завтра, мий голубе сызый! — И они расстались.

— Иде, иде, — шептала больная, когда взошло солнце. — О! чуєте, ворота скрипнули. — Яким вышел из хаты и встретил Марка с чумаками, входящего во двор.

— Иды швидче в хату, — сказал обрадованный Яким Марку. — Я тут и без тебе лад дам.

Марко вошел в хату. Больная, увидя его, вздрогнула. Приподнялася и протянула к нему руки, говоря:

— Сыну мой! Моя дытыно. Иды, иды до мене!

Марко подошел к ней.

— Сядь, сядь коло мене. Нагни мени свою голову.

Марко молча повиновался. Она охватила его кудрявую голову исхудалыми руками и шептала ему на ухо:

— Просты! Просты мене. Я... я... я твоя маты.

Когда Яким возвратился в хату, то увидел, что Марко, плача, цаловал ноги уже умершей *наймички*.

Переяслав

Джерело: *Шевченко Т. Г.* Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 3: Драматичні твори. Повісті. — С. 57-120.

Постійна адреса: http://ukrlit.org/shevchenko_taras_hryhorovych/naymichka_povist